

Astro 13

Рыцарь двух щитов

СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ

18+

Astro 13

Рыцарь двух щитов

«Автор»

2026

13 А.

Рыцарь двух щитов / А. 13 — «Автор», 2026

Рыцарь без земли дал слово: не поднимать оружия на того, кто не может его поднять. Он сдержал — и проиграл всё, что имел. Лорд жжёт деревни и переписывает чужие долги. Дева, не умеющая читать, двадцать лет считает удары сердца, чтобы не сойти с ума от того, что она видела в четырнадцати шагах. Кузнец, которому отобрали молот, помнит форму волчьего клейма. Летописец без права службы четырнадцать лет пишет то, чего ему велено не писать. Объявить лорда может только тот, кого лорд держит за волосы.

Содержание

Глава	5
ПРОЛОГ. РУИНЫ	6
ГЛАВА 1. ДОЛГОВОЙ ПИСЕР	9
ГЛАВА 2. КУЗНЕЦ И ДВА МЕТАЛА	26
ГЛАВА 3. ЛЕТОПИСЕЦ	40
ГЛАВА 4. СЧЁТЧИК	57
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Astro 13

Рыцарь двух щитов

Глава

РЫЦАРЬ ДВУХ ЩИТОВ

Три части: Обет, Процесс, Расплата

ПРОЛОГ. РУИНЫ

Ночь стояла на развалинах третий час.

Туман подобрался к обломкам и лежал в них, как вода в сломанном кувшине. Из-за холма горел костёр — ровный, жёлтый, с жёлтым отсветом на ржавых залпах.

— Сядь, — сказал Вальд Тарн. — Холодно.

Летописец сел. Он сидел так, как сидят люди, привыкшие писать: спина прямая, ноги скрещены, перо уже в руке, хотя он ещё ничего не записал.

— Ты молчишь, — сказал Вальд.

— Я жду.

— Ждать хуже, чем писать.

— Ты прав. Я пишу о том, что ты делаешь. Делать и ждать — разные глаголы.

Вальд вытер рот тыльной стороной ладони. Смеяться он не умел уже лет восемь, но что-то в нём коротко дрогнуло.

— Ты много таких слов знаешь, — сказал он, — а ни одного не сказал вовремя.

— Я сказал. Ты не слушал.

Из тумана, шагах в десяти, кто-то сказал:

— Пусть поговорит. У нас ночь.

Летописец не обернулся. Рыцарь встал, медленно вытащил меч из ножен и держал его низко, у бедра, — так, как держат, когда не знаешь, во что верят.

— Сойдём с места, — сказал он.

— Сойдём, — ответил голос. — Или посиди. Нам всё равно, только доживите до утра.

Некто поднялся из-под стены. Был он в рваной кольчуге поверх серой рубахи, без щита, с топором в руке, и топор он держал не по-боевому, а лопастью вниз, как человек, который несёт им дрова.

— Освальд Дермур, — сказал он. — Дом, который больше не дом. И она.

— Аста, — сказала вторая тень из тумана. — И больше ничего.

— Аста без отчества, — поправил Дермур.

— Аста, у которой нет отчества, — сказала она, — потому что в нашей деревне не записывали, а мать сожгли.

Рыцарь опустил меч и убрал в ножны.

Туман подобрался к их ногам.

— Значит, так, — сказал Вальд Тарн. — Сядьте оба. У нас ночь, а ночь длинная. У вас есть чему меня научить, у меня — кому податься.

Дермур сел. Аста осталась стоять, потому что так было привычнее.

Летописец перевернул чистый лист, положил его на колени и обмакнул перо.

— С какого времени записывать? — спросил он.

— С того, которое тебе понадобится потом, — сказал рыцарь.

Перо скрипнуло по пергаменту. Оно всегда начинало не с того места, с которого все ожидают.

Он записал: «Три у костра. Ночь. Один говорит — не доживём до утра. Другой говорит — доживём. Третий молчит. Четвёртый пишет. Четверо. Один пойдёт искать деньги. Один пойдёт искать правду. И эти двое — первый, кто за восемь лет сказал мне, что я мимо цели».

Потом он поднял голову и посмотрел на рыцаря.

— Через три недели, — сказал он, — ты произнесёшь обет.

Рыцарь не ответил. Он смотрел в темноту, где от тумана остался только запах хвои и мокрого камня.

— Скажи, как он будет выглядеть, — попросил Эйдан.

— Как обет.

— Я запишу.

— Он будет выглядеть, — сказал рыцарь, — как человек, которому надо куда-то вернуться.

Четвёртый день после этого стоял светлый, ветреный, с запахом гари и мокрого пепла, и в этом селе — двадцать два двора, из которых одиннадцать стояли без крыш, — въехал на серой двуколке человек в дорожном плаще, прикрытом чужой попоной, с ящиком письменного прибора под мышкой, и с двумя солдатами в серых плащах за спиной.

На передке двуколки был волк с тремя зубами.

Альда Тумен, двадцати двух лет от роду, вымытая, с хлебом в фартуке, стояла у своей калитки и смотрела на этот ящик, и ей было хорошо, потому что она ещё не знала, что в нём.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ОБЕТ

ГЛАВА 1. ДОЛГОВОЙ ПИСЕР

Долговой писец приехал в Тумен третьего дня после Петрова дня. Земля ещё не сохла, телега уже вязла.

Альда стояла у своей калитки и смотрела, как двуколка ползёт по раскисшей улице, и как из-под заднего колеба брызгает вода на плетень, который её отец ставил трижды. Плетень был последним, что стояло в её дворе из всего, что было во дворе до пожара.

Писац был невысокий, в добротном суконном кафтане, и нёс он этот кафтан так, будто стоял в нём напоказ. За ним шли двое в серых плащах, и на груди у каждого была волчья голова с тремя зубами, вышитая мелкой нитью, и от пыли нить посветлела.

— Сельцо Тумен, — объявил писац. — По воле лорда Одрика Гордельфа, комтура северного отряда, вотчина Волчья Гора.

Мальчишка Тимка, сидевший на заборе, сказал:

— Я знаю, что это долговое. Я слышал.

— Замолчи, — сказала Альда.

— Я говорю, что знаю.

— Тогда сиди и слушай.

Она не кричала. Она привыкла не кричать: в селе, где у неё были белые волосы, крик означал, что она права.

Писац развернул пергамент и держал его двумя пальцами на высоте груди — так, что видно было всем и неудобно было ни одному.

— И читаю вслух, дабы никто потом не сказал, что не слышал.

Прочитал.

Из-под навеса, где колот дрова Гринь Ольхов, поднялся старейший и подошёл вплотную, потому что бегать он разучился раньше, чем научился бояться. Ему было пятьдесят восемь.

— Это долговое? — спросил он тихо.

— Это долговое, — сказала Альда.

Гринь посмотрел на двуколку, потом на серые плащи, потом на её волосы и отвёл глаза, как отводят от жаркого.

— Второй раз, — сказал Гринь. — Первый был летом, когда продавали бочку.

— Это не про бочку.

— Я знаю, — сказал Гринь. — Вот и говорю. Не про бочку.

Писац кашлянул.

— Сумма взыскания, подлежащая взысканию с означенной, есть пятьсот флоринов, — читал он. — И складывается она сие: долг шестьдесят; заимодавшее на развод и перенос, то есть расходы по переводу долга, сорок; неустойка за три года просрочки, двести сорок; законная тропа за год и одиннадцать месяцев, сто шестьдесят. Итого пятьсот.

Тимка на заборе перестал улыбаться.

— Почему пятьсот? — сказала Альда.

Писац не поднял головы.

— Что?

— Отец брал шестьдесят. Ты сказал — шестьдесят.

Писац поднял голову.

— Девица, — сказал он, — арифметику ведёт лавка, а не я. Я читаю.

— Нет, — сказала Альда. — Ты читаешь, и ты сложил. Ты только что сложил вслух, и я слышала: шестьдесят, сорок, двести сорок, сто шестьдесят. Я умею считать. Я досчитала, что отец брал шестьдесят и двадцать два отдал товаром. Осталось тридцать восемь.

Писац сложил пергамент и убрал его под кафтан.

— Ты разбираешься в долгу больше, чем твой отец, — сказал он. — Твой отец не разбирался. Он подписал, и всё.

— Отец не умел писать.

— Отец не умел писать, и это не мешало ему подписать, — сказал писац. — Подпись законна, потому что закон не требует уметь писать. Закон требует подпись.

Из-под навеса вышел дед Овдей, который был глух на одно ухо и потому всегда спрашивал, что сказали.

— Что сказали? — крикнул Овдей.

— Пятьсот! — крикнул Тимка.

— Сколько?

— Пятьсот флоринов!

Овдей посмотрел на Альду.

— Это что, много?

— Это за всю жизнь, — сказала Альда.

— За всю жизнь не бывает, — сказал Овдей. — Бывает за корову.

Писац ударил ладонью по столу, на который он поставил было пергамент, и попросил тишины, и тишина наступила такая, что стало слышно, как в колодце, который оставили на минуту, журчит вода.

Потом писац сказал:

— Долг перешёл к дочери, в силу родительского долга и в силу того, что иных наследников не имеется. Двор, навес, погреб и движимое перешли вместе с ним. И с обязательством отвечать за них непрерывно.

Он помолчал и добавил — тише, и от этого стало хуже.

— А ежели к осенней ярмарке от взыскания, причитающейся означенной суммы, не отбудет, то она отдаётся в откупное служение сроком на семь лет, в любое место, куда её по определению суда отведут. И залог возвращается в вотчину лорда без возмещения.

— В любое место, — повторила Альда.

— Куда угодно, девица.

— В твой огород?

— Зачем же тебя ко мне, — сказал писац. — Я человек бережный.

Из-за забора послышалось:

— Матёна, иди, Матёна, послушай!

— Иду! — крикнула мельничиха Тоса. И не пошла.

Альда обернулась.

Тоса стояла у своей двери, держась за косяк, и на лице у неё было то выражение, которое Альда знала. Это была не злость. Это было очень быстрое решение о том, чем её дому лучше не заниматься.

— Тос, — сказала Альда.

Тоса посмотрела на неё поверх забора, посмотрела долго, потом сказала:

— Соль у меня есть. Марку соли.

— Мне соль не нужна.

— Я знаю, — сказала Тоса. — Я про то, что соль есть.

И ушла в дом.

Писац вынул из рукава лист и подошёл к двери, и прибил его двумя гвоздями — один на перекладину, другой пониже, — очень ровно, как вешают бельё.

— Это, чтобы никто не сказал, что не знал.

Альда смотрела на гвозди. Гвозди были медные, тупые, с шляпками крестом.

Потом писац кивнул серым плащам, и те пошли к хлеву.

— Лошадь, — сказал один из них.

— Лошади нет, — сказала Альда.

— Лошадь у старосты.

— Лошадь у старосты, — подтвердил Гринь.

Серый плащ миновал её хлев и пошёл к старостину. Он вошёл туда и вывел кобылу, серую, в яблоках, с такой спокойной сытой мордой, какая бывает у скота, которого всю жизнь кормили вовремя.

Писац подошёл к кобыле и посмотрел на неё.

— Это не та грамота, — сказал он.

Он вернулся к двуколке и вынул другой лист, и он читал его долго, и Альда стояла и слушала, и лошади в этом листе не было.

— Двор, — сказал писац. — Навес. Погреб. Движимое.

Он опустил лист.

— Год назад, — сказал он, — взыскана корова.

— Год назад у меня коровы не было, — сказала Альда. — Корову я купила третьего года, ей тогда было два года, и в грамоте её нет, и вы это знаете, потому что вы её писали.

Корова была не в грамоте. Корова была её.

Альда поставила себя между коровой и дверью.

— Стой, — сказала она.

Плащ посмотрел на неё сверху вниз, потому что был он на полголовы выше и на полголовы шире.

— У меня приказ.

— У тебя приказ на корову, которая не в залоге, — сказала Альда. — Потому что залог — двор, навес, погреб и движимое, и корову я купила третьего года, и в грамоте её нет.

Писац сказал:

— Именно.

— Значит, грамота неправда.

— Значит, грамота неправда, — повторил писац, и в голосе у него не было ни зла, ни веселья, и это было хуже обоих. — Ты обвиняешь лорда в неправде, девица, при двух его людях и при всём селе. Иди, я это запишу.

Альда стояла.

Дед Овдей, который ничего не слышал, но всё видел, шагнул вперёд, и стал между коровой и плащом, и ноги у него дрожали, но он встал.

— Мальчик, — сказал Овдей. — Корову не трогай.

— Иди, старик.

— Корову не трогай, — повторил Овдей и не двинулся.

Плащ ударил его открытой ладонью по щеке. Не сильно. Просто чтоб отошёл.

Овдей отлетел на забор и сел на землю, и из подбородка у него пошла тонкая струйка.

Альда ударила плаща в грудь обеими руками, и попала, и это было глупо, и она знала, что глупо, потому что он был вдвое тяжелее, но она ударила, потому что иначе стоять было невозможно.

Второй плащ оторвал её от первого за ворот и поставил на колени на грязь, и держал, и это держал за волосы.

Она закричала.

И в этот момент сзади слышался звук, который Альда потом вспоминала всегда одинаково: короткий, тяжёлый удар железа по железу, когда человек ставит сапог на стремя. Ни окрика, ни свиста.

Второй плащ разжал руку.

Он упал на спину, и из-под него пошла вода, потому что дождь шёл, просто Альда не замечала.

Над ним стоял человек лет тридцати четырёх в бурой безрукавке, с закатанными рукавами, и в руке у него был короткий меч, необнаженный, и держал он его рукоятью вниз, как держат ключ.

— Руки покажи, — сказал человек.

Плащ лежал и не двигался.

— Руки покажи, — повторил человек и ударил его пяткой в бедро. — Или я тебе их переставлю.

Плащ сел и показал руки. Ладони у него были белые, чистые, с гладкими ногтями. Он не был ни пахарем, ни стражником. Он был человеком, который управляет такими, как он.

— Запомни, — сказал человек. — Корову у неё не забирают. Лошадь её старосты. Ни хлеба, ни скотины, ни посуды. Слышал?

Плащ посмотрел на писаца.

Писац посмотрел на человека.

И тут Альда увидела то, чего не видела раньше: писац испугался.

Не человека. Он испугался его плаща.

— Сэр, — сказал писац, и слово «сэр» у него вышло машинально, как ставят штамп, — я исполняю волю лорда по грамоте.

— Грамота на стене, — сказал человек. — Я её не рвал. Копия. Прочёл.

Писац посмотрел на стену.

— Вы, стало быть, грамотный?

— Немного.

Писац встал. Он стал ровнее, и голос у него стал суше.

— Сэр рыцарь, — сказал он. — Я при исполнении. Слово моё — не моё. Я читаю.

— Читай дальше.

— Слово моё не моё, — повторил писац. — И я предлагаю вам не мешать и уйти. Потому что если вы грамотный, то вы знаете, что грамота на стене написана одним почерком с грамо-

той, что в лавке Сольвы. А если вы знаете, что почерк один, то вы знаете, что в этой грамоте есть слова, которых на суде быть не должно.

Человек ничего не сказал.

Он смотрел на писаца, и Альда видела, как у него дрогнула челюсть, и как он её сжал.

— Уходите, — сказал писац. — И оставьте деву. Потому что если вы останетесь, то мне придётся доносить, что вы остались, и в доносе будет написано всё, что вы здесь сказали. А в доносе будет написано и то, что корову вы не тронули, и что старика вы не тронули. И старик, — он кивнул на Овдея, — скажет, кого ударили. И дева скажет, кого били за волосы.

Овдей сидел на земле и держался за забор.

Человек убрал меч в ножны.

— Меня зовут Вальд Тарн, — сказал он. — Я рыцарь без земли и без службы. И я уйду. Но я говорю при свидетелях, и свидетели меня слышат: в этом селе никто не тронет корову. Если тронет — приезжай ко мне, и я приду, и я не приду разговаривать.

Он посмотрел на писаца.

ф

— Ты меня понял?

— Я понял, сэр.

— Запиши.

— Запишу, — сказал писац и не записал ничего.

Двуколка ушла по раскисшей грязи, и волчья голова на передке три раза качнулась направо, и стала меньше, и стала точкой, и пропала за гнилым стволом тополей.

Тимочка подошёл и показал ей обломок чурбака.

— Смотри, — сказал он. — Он ей на левый глаз!

— Ступай, — сказала Альда.

— Он ей на левый глаз! — сказал Тимочка и убежал.

Альда стояла у двери и слушала, как стучит сердце у мальчишки, который убежал.

Потом она подошла к Овдею и посмотрела на него.

— Дед, встань.

— Встану, — сказал Овдей. — Рука цела.

Он встал и отряхнулся и сказал:

— Это нехорошо, что ты ударила. Это нехорошо, что ты стояла.

— А что хорошо?

— Ничего хорошо, — сказал Овдей. — Но ты стояла.

Он пошёл к себе, а Альда осталась у двери и смотрела на медные гвозди.

Гринь подошёл, когда стемнело.

— Я подписал первый, — сказал он, не дожидаясь вопроса. — Не под личную. Под отцовскую. Когда нас в деревню отбирали, его заставили подписать, что мы все в долгу за отца. И он подписал.

— Зачем он подписал?

— Чтоб деревню не сожгли, — сказал Гринь. — А потом её сожгли, и позже, но он подписал. И я подписал, и Овдей не подписывал, и за то, что Овдей не подписал, его три раза клали на пол. И я подписал за троих.

Он стоял и не смотрел на неё.

— Я не знал, что будет так, — сказал Гринь.

— Я знаю, — сказала Альда. — Это я знаю.

Она вошла в дом и села за стол и положила перед собой три листка: копию приговора, лист с шестью вещами, которые принадлежат ей по праву, и тетрадь матери.

Потом загасила лампу, потому что было видно, и всё держала в темноте.

У неё было девять флоринов и четыре марки.

Долг был пятьсот.

Она не умела считать так, как писац, и не умела читать так, как рыцарь, но она умела считать так, как учил отец: вслух, шаг за шагом, чтобы не обманывать себя.

— Девять, — сказала она в темноте. — Четыре марки. Это девять и двадцать сотых флорина. Пятьсот — это пятьдесят пять раз по девять. Нет. Это пятьдесят шесть раз. Пятьдесят шесть лет.

Она посчитала ещё раз.

— Пятьдесят пять. Сорок девять лет от сегодняшнего дня.

Она закрыла тетрадь и положила руки на стол и сидела так до ночи.

В корчме в Сером Броде было светло и шумно, потому что была среда, а по средам торговали, и Матрёна Ольха кормила всех похлёбкой за две марки и не задавала вопросов, потому что вопросы стоили дороже похлёбки.

Альда вошла сбоку, мимо двери, и встала у стены, и её никто не сразу увидел.

У стены стоял человек в бурой безрукавке и пил, и он пил медленно, и за ним сидели двое: сухой старик в скамье, который подписывал всё, что делал, и хромой конюший в новой шубе, который всем рассказывал разное.

— Слыхали? — говорил конюший. — В Тумене приходный писец был. Долговой.

— Слышал, — сказал человек в бурой безрукавке.

— Пятьсот выписал. Слыхали?

— Слышал.

— И девка та, с белыми волосами, за волосы её держали. Овдею в кровь побили. Я говорю — Тоса соль не вынесла, все видели. Тоса соль вынесла и потом три дня не разговаривала, а потом вынесла ещё.

— Зачем соль?

— Как зачем, — сказал конюший. — Чтобы не считать, что она там была.

Человек в бурой безрукавке поставил кружку.

— А ты, Ярн, — сказал он, — говорил про волков на горизонте?

— Про каких волков?

— Про тех, что за гнилым стволом стояли.

Ярн Брауль перестал жевать.

— Я не говорил, — сказал он.

— Ты сказал, — ответил человек. — Ты сказал: «Ну, девка, к тебе едут». И потом сказал: «Из Сольвы». И потом посмотрел в окно и сказал: «Он тут землю покупал. Ему нужен лес». Я сидел напротив.

Ярн посмотрел на него и проглотил.

— Ты кто такой? — спросил он.

— Вальд Тарн, — сказал человек. — Рыцарь без земли и без службы. Я третий день в Сером Броде. Ковыряю ворота у кузнеца.

— Ковыряешь ворота.

— Ковыряю ворота. У меня двадцать флоринов и обет.

Ярн посмотрел на него очень долго.

— Двадцать, — сказал он. — У тебя двадцать флоринов и обет на пятьсот.

— Да.

— И ты ковыряешь ворота.

— Да.

Ярн Брауль медленно поднял кружку и допил.

— Ну, — сказал он. — Ну, рыцарь.

Альда стояла у стены и слушала.

И тут старик в скамье — Ольгерн Торн, кузнец, пятьдесят пять лет — сказал:

— Ярн. Замолчи.

— Я молчу.

— Ты не молчишь, ты разговариваешь, — сказал Ольгерн. — Это разные вещи. Молчать — это когда молчишь.

Он встал, и он был небольшой, и согнутый, и в рубашке с чужого плеча.

— Ты, — сказал он Альде. — Ты стоишь тут с тех пор, как вошла. Чего стоишь?

— Слушаю, — сказала Альда.

— Слушай в другом месте, — сказал Ольгерн. — Здесь борщ и похлёбка.

— Я не за едой, — сказала Альда.

Ольгерн посмотрел на неё и на её волосы, и Альда увидела, как он отвёл глаза, и как тут же вернулся, и как это стоило ему усилия.

— Я, — сказал Ольгерн. — Не умею смотреть на волосы. Не умею уже. Ты это знаешь.

— Знаю.

— Тогда сядь и ешь, — сказал Ольгерн. — А потом скажешь, чего хочешь, и я отвечу, и если не отвечу — уйдёшь, и я не пойду за тобой.

Альда села.

Она ела похлёбку, и она считала ложки, потому что так проще, чем считать флорины.

Матрёна Ольха подошла и налила ещё, и не сказала ни слова, и поставила хлеб.

Потом Вальд Тарн подошёл к её столу и сел напротив и положил локоть на стол.

— Сколько у тебя? — спросил он.

— Девять флоринов и четыре марки.

— А долг.

— Пятьсот.

— А долг, который брат твоего отца брал.

— Тридцать восемь.

— Значит, ты уже умеешь считать, — сказал Вальд. — Ты сама вычла тридцать восемь. Писец сложил вслух шестьдесят, сорок, двести сорок и сто шестьдесят. Ты из этого вычла. Значит, ты слушала не сложение. Ты слушала, откуда они берутся.

Альда подняла голову.

— Что?

— Покажи грамоту.

Альда достала из-за пазуха сложенный лист, развернула и положила на стол между кружками.

Вальд Тарн читал медленно, и водя пальцем по каждой строке, и лицо у него всё время было спокойное.

— Перевод от лорда Одрика Гордельфа, — читал он. — Взят у Мейнхарда Целли. Сума шестьдесят. Заимодавшее на развод и перенос, сорок. Неустойка за три года, двести сорок. Законная тропа за год и одиннадцать месяцев, сто шестьдесят.

Он остановился.

— Год и одиннадцать месяцев, — сказал он.

— Что?

— Это написано — «год и одиннадцать месяцев». Год — это двенадцать месяцев. Одиннадцать сверху не бывает. У крестьянина, может, и не бывает, у него месяцы свои. У них — те, что у тебя. Они написали «год и одиннадцать месяцев», а год и одиннадцать месяцев — это два года без месяца. Значит, они считали не месяцы. Значит, они не считали. Они писали.

Он посмотрел на Альду.

— Ещё есть «законная тропа». Сто шестьдесят флоринов. Тропа — это когда долг тянут через суд, от суда к суду, когда человек с долгом идёт вместе с долгом. За тропу берут с виновного. Тебя судили?

Альда подняла голову.

— Нет.

— Кто-нибудь в суде был?

— Никто не приезжал.

— Значит, тропу посчитали здесь, — сказал Вальд. — Где суда нет.

Он сложил лист и положил обратно.

— Это ещё не доказывает ничего, — сказал он. — Это только значит, что бумагу писали не считая. Но бумагу писали не считая, потому что спешили, а спешили, потому что считали некогда. А некогда — потому что надо было взыскать пятьсот до осени, а до осени у них осталось два месяца.

— Зачем им спешить? — спросил Альда.

Вальд не ответил.

Он смотрел на лист.

— Затем, — сказал он наконец, — что через два месяца винодельни у тебя не будет. Залог вернётся в вотчину без возмещения. И тогда за тобой станут стоять триста семьдесят девять флоринов из пятисот. А из них сорок восемь — твой долг, а остальные — ничей. Ничей долг взыскивается легче.

Ольгерн, который слушал, сказал:

— Вальд.

— Что?

— Ты сказал «ничей долг», — сказал Ольгерн. — Это не такое слово.

— Какое?

— Не такое, — сказал Ольгерн. — Я не знаю, какое. Но ты сказал, и теперь все думают, что есть слова для таких вещей. А таких слов нет. Есть слова про то, что взяли. А про то, что отняли, — выдумывают, и тогда как будто отняли не всё.

Вальд посмотрел на него.

— Ты прав, — сказал он. — Скажи иначе.

— Долг, который приписан, — сказал Ольгерн. — Говорят: долг, который приписан.

Вальд кивнул.

Альда сидела и смотрела на них и не понимала ничего.

— Стой, — сказала она. — Вы говорите так, будто я уже всё знаю.

— Ты знаешь, что в грамоте написано «год и одиннадцать месяцев», — сказал Вальд.

— Я не знаю, что это значит.

— Это значит, что они не считали, — сказал Вальд. — А если они не считали, то они писали то, что хотели написать. А если они писали то, что хотели, то через два месяца придёт клятва, что пятьсот — это по грамоте.

Он помолчал.

— И вот тут, дева, я тебе скажу, и ты не обрадуешься.

— Говори.

— Я не знаю, можно ли по этой бумаге выиграть, — сказал Вальд Тарн. — Я знаю, что в ней дыра. Но дыра в бумаге — это ещё не приговор. Приговор — это когда бумагу читают при пяти рыцарях, и пять рыцарей говорят: да, дыра есть. А до тех пор дыра — это моя дыра, и в твоей грамоте её нет.

— А ты говорил, что дашь слово.

— Слово я дам, — сказал Вальд. — Слово — это не победа. Слово — это обязательство. Я дам слово, и я его не нарушу, но я не знаю, выполнимо ли оно.

— Зачем тогда давать?

— Потому что незнание, — сказал Ольгерн вместо него. — Потому что ты сидишь и ждёшь, пока за тобой придут. И придут. И ты не знаешь, когда. А если кто-то сказал слово, то ты ждёшь не одна.

Альда посмотрела на него.

— Ты сказал слово, — сказала она. — Ты? Кузнец?

Ольгерн посмотрел на свои руки.

— В кузне, — сказал он. — В своей кузне, в двадцати шагах от горна, я дал слово человеку, что делаю, пока он не сдержит. А он сдержал. Он три дня клепал мне цепь и не сказал ни слова, а клепал. А теперь он сидит и говорит, что даст слово тебе.

Он встал.

— Я не умею давать слова, — сказал Ольгерн. — Умею делать. Завтра приходи, будешь подавать.

— Я не поднощик.

— Я поднощиков не беру, — сказал Ольгерн. — Ты будешь у меня в подмётках. Дешевле, чем поднос.

Он ушёл к горну, который был в углу корчмы, потому что Ольгерн Торн не мог спать при своём горне, и жил при нём, и двадцать лет не спал нигде больше.

Ярн Брауль поднялся и вышел.

Альда сидела с пустой кружкой.

— Он дал слово, — сказала она. — Он только что сказал.

— Да, — сказал Вальд Тарн.

— Значит, он приедет.

— Значит, приедет, — сказал Вальд.

— И что он будет делать?

— Он будет ковать, — сказал Вальд Тарн. — Он уже куёт.

Он встал и положил на стол четыре марки.

— Здесь хлеб и щи, — сказал он. — Ты считала девять и четыре. Стало девять. Ешь спокойно.

Альда смотрела на четыре марки.

— У тебя двадцать флоринов, — сказала она. — И обет на пятьсот. И ты отдаёшь четыре марки за похлёбку с коровой.

— Я отдал за щи и хлеб, — сказал он. — За похлёбку с коровой никто не платит. За неё расплачиваются весной.

Он вышел.

И тогда она встала и пошла за ним, и вышла за ним на улицу, и он стоял у коновязи, и садился на коня, которого не было, потому что коня у него действительно не было.

— Сэр, — сказала Альда.

Он обернулся.

— Я не знаю, зачем вы сидели, — сказала Альда. — Я не знаю, почему вы сказали моё имя при писаце. Я не знаю, почему вы дали слово в корчме. И я не знаю, кто вы такой. Но вы сказали слово, и я не могу это взять обратно, и я не могу сказать «не надо», потому что вы сказали это не мне.

Он стоял и молчал.

— Вот что я хочу сказать, — сказала Альда. — Я не пойду с вами. Я не поеду в Хален. Я не буду стоять в палате и смотреть, как пять рыцарей говорят про дыру в бумаге. Мне это не нужно. Мне нужно два месяца.

— Два месяца, — повторил Вальд.

— Два месяца, — сказала Альда. — Через два месяца лорд заберёт виноградню, и я стану свободна от залога, и останется триста семьдесят девять флоринов ничьего долга, который вы сами сказали — взыскивается легче. И вот что я сделаю: я пойду в Вильну, и я найду нотариуса, и я узнаю, кому я должна и за что. И если я должна тридцать восемь — я отдам тридцать восемь, за три года, сама, своими руками. И я не стану ждать, пока за меня приедет рыцарь, потому что от рыцаря я не знаю, что останется.

Ольгерн крикнул из корчмы:

— Слово дано!

Альда не обернулась.

Она смотрела на Вальда Тарна, и ветер с реки бил ей в лицо, и она не убирала волосы, потому что в Сером Броде было уже решено, что прятать бессмысленно.

— Вот что я дам тебе, — сказал Вальд Тарн. — Обет. Слово, что до осенней ярмарки я достану тебе пятьсот флоринов любым способом, который ты переживёшь. И второе: я пойду в Хален и положу обет против лорда Гордельфа, и разберу эту грамоту при панели. И третье.

Он остановился.

— И третье я даю вслух, при свидетелях, и это не отменяется никем, и ты запомни, потому что я, может быть, нарушу, и если нарушу — ты должна знать заранее, от кого.

Он подошёл ближе и понизил голос, но не настолько, чтобы Матрёна Ольха у коновязи не услышала.

— Я не подниму оружия на того, кто не может мне его поднять. Я нарушу это один раз, и только если увижу, что безоружный сейчас же убьёт того, кого я обязан защищать. И если я нарушу — ты мсти мне сама, а не идёшь к нему.

Альда стояла.

— Ты дал три, — сказала она. — И все три — про себя. Ни одно твоё слово не про меня.

— Да, — сказал Вальд Тарн. — Про себя. Мои дела — про себя. Дела, которые про тебя, — твои.

— Мои дела, — сказала Альда, — это пятьсот флоринов и семь лет.

— Да.

— Значит, я должна сама.

— Значит, ты должна сама, — сказал Вальд. — И ты должна сама, и ты идёшь в Вильну, и я знаю, что ты идёшь, потому что ты сказала «за три года», а не «когда-нибудь». И я тебе вот что скажу, дева, и это не обет, и это не слово, и это можно не слушать.

Он посмотрел на свои пустые ножны.

— Ты пойдёшь в Вильну одна, и по дороге из Тумена есть три дня пути, и на втором дне, у вилки, где берут к Сенцову, стоит свая с крюком. И если на свае белая нитка — идут. И ты пойдёшь мимо, потому что ты никого не ждёшь и ты сама. И это правильно. А если кто-то идёт к Сенцову в ту же ночь, и это не ты, и ты это увидишь, то ты не полезешь. Ты вернёшься в Серый Брод и скажешь кузнецу. Кузнец придёт ко мне. Я приду туда, где тебя нет. И это, дева, единственное, что я тебе даю взамен денег, которых у меня нет.

Альда смотрела на него.

— Почему ты не сказал это первым?

— Потому что ты бы не услышала, — сказал Вальд Тарн. — Сначала надо сказать про долг. А потом можно сказать про сваю.

Он пошёл по улице, и у него не было коня, и он ушёл в темноту, и Альда стояла и слушала его шаги, и они были ровные, тяжёлые, не быстрые.

На горке за селом, где росла ольха и откуда было видно всю долину, стоял всадник и смотрел на огни внизу.

Он стоял там с самого приезда писаца.

Плащ у него был серый, а на груди — волчья голова с тремя зубами, и на гвозде она блестела, потому что её подновляли маслом.

Всадник смотрел, как рыцарь без земли ушёл по улице, и как дева стояла у коновязи, и как в дверях кузни стоял кузнец и смотрел на дорогу.

Он поднял руку и поехал вниз, к тракту.

И было известно всем, кто был в Сольве, что за трактом, в четырёх верстах, стояла Волчья Гора, и что на Волчьей Горе жил лорд Одрик Гордельф, и что он не бывал в Сером Броде одиннадцать лет.

А в ту ночь он проехал через Серый Брод один.

И потом, когда лошадь шла по гребню, он вынул из-за пазуха сложенный лист и развернул на коленях, и там был список, и в списке четвёртой строкой было написано:

«Тарн, Вальд, рыцарь без земли и без службы, вызван по грамоте палаты обетов, дал слово при семи свидетелях в корчме, клятва под вопросом, цели неясны».

ГЛАВА 2. КУЗНЕЦ И ДВА МЕТАЛА

Горн разжигали в четвертом часу, потому что Ольгерн Торн двадцать лет разжигал горн в четвертом часу и не видел причин менять.

Вальд Тарн стоял у второй наковальни и смотрел, как кузнец берёт брусок из горна двумя руками и ведёт его в воду, и вода не кипит.

— Ты зачем полез в воду, — сказал Вальд. — Она же кипит.

— Она не кипит, — сказал Ольгерн. — Здесь не кипятка. Здесь отпускание. Если положить раскалённое в кипяток, оно закалится. Если в холодную — оно закалится и треснет. Если в тёплую и дать остыть медленно — оно будет мягкое.

Он вынул брусок и положил на наковальню.

— Мягкое мнётся, — сказал Ольгерн. — Мягкое гнётся. Мягкое берёт на себя. Но мягкое не рубит никогда и не восстанавливается. Вмятина остаётся навсегда. Загладишь, вытянешь, поставишь заплату — вмятина останется, и всякий, кто посмотрит, увидит, куда ты получал.

Он перевернул брусок.

— Закалённое — другое. Закаленное твёрдое. Твёрдое не гнётся. А не гнётся — значит, не терпит. Дай в лоб — треснет. Дай сбоку — развалится на две части, и обе с заусенцами, и обе острые. Вот почему мечи закаляют, а доспехи отпускают. Меч должен рубить и не должен гнуться. Доспех должен гнуться и не должен рубить. А между ними — ноль, и туда нельзя попасть.

Вальд смотрел на брусок.

— А ты чего терпишь? — спросил он.

— Что?

— Ты кузнец. Ты терпишь или ломаешься?

Ольгерн не ответил сразу. Он положил брусок в ящик с песком и засыпал сверху.

— Я терплю, — сказал он наконец. — У меня два сына на тот свет ушли и три внука, и я терплю, потому что терпеть — это когда ты работаешь дальше.

— А я?

— Ты ломайся, — сказал Ольгерн. — Ты для того и годеи.

Вальд взял клеймо.

Ему было тридцать четыре. Он не был ни богат, ни знатен, и за всю жизнь научился трём вещам: держать удар в ребро, врать о том, что делал, и не обещать. Восемь лет назад он обещал и не сдержал, и с тех пор не обещал ни разу.

И вот теперь он стоял в чужой кузне и собирался пообещать снова.

— Я, — сказал он, — умею только одно из двух. Я умею терпеть. Ковать — не умею. Мельницу — не умею. Я клепаю цепь и ставлю наковальню. Это всё.

— Ты умеешь держать щит, — сказал Ольгерн.

— Я умею стоять, — сказал Вальд.

— Этого хватает, — сказал Ольгерн. — Я ковал щиты для отряда три года и видел всех. Стоять умеют четверо. Бить умеют все.

В это время снаружи заскрипело, и вошла Альда, и в руке у неё было ведро, и на голове был платок, повязанный так, что волосы были убраны.

— Ольгерн, — сказала она. — Ты говорил: в подмётки.

— Я говорил.

— А кормить будешь?

— Будешь есть то, что ест кузнец, — сказал Ольгерн. — Щи с кашей и солью. Каша без масла. Соль — последнее, что осталось.

— Я не жалуюсь, — сказала Альда. — Я смотрела, что на столе в корчме.

Ольгерн посмотрел на ведро.

— Гвозди, — сказал он. — Мне нужны гвозди. Двести. Триста, если найдёшь. И подковы.

— Подковы?

— Я кую подковы три года, потому что больше нечего, — сказал Ольгерн. — Лошади у нас нет, а гвозди всегда нужны.

Он поставил горн и сказал:

— Покажи грамоту.

Альда не двинулась.

— Что?

— Покажи грамоту, — повторил Ольгерн. — Копию, что на двери. И сними с неё воск, если сможешь, только не рви, а сними.

— Зачем?

— Потому что на воске оттиск, — сказал Ольгерн. — Если воск ещё не ссохся, оттиск виден. А если ссохся, то всё равно виден.

Альда достала лист и положила его на бочку.

На листе, внизу, где писац поставил печать, был оттиск.

Ольгерн Торн посмотрел на него.

И перестал дышать.

Так он простоял, может быть, двадцать ударов сердца.

— Ну? — сказала Альда. — Что?

Ольгерн поднял голову.

— Кузнец, — сказал он. — Позови Ярн.

— Он в корчме.

— Позови.

Ярн не было. Ярн пришёл через десять минут, хромым, в новой шубе, и посмотрел на лист, и ничего не сказал.

— Где мой клык? — спросил Ольгерн.

— В ящике, — сказал Ярн.

— Тот, что на гвозде?

— Который?

— Который я отлил и не отдал.

Ярн посмотрел на него.

— У меня в шкатулке, — сказал Ярн. — Где ещё.

Ольгерн молчал.

— Что? — сказал Ярн. — Ольгерн, что?

— Я отлил три, — сказал Ольгерн. — Один отдал Илию. Два оставил. Один висел на гвозде одиннадцать лет. Другой лежал в ящике с гвоздями.

Он пошёл к стене и снял с гвоздя тёмный клык с зелёным налётом в пазу, и под ним на гвозде была пустая тень, и тень была тёмная, потому что клык висел одиннадцать лет и загорежи дерево.

Ярн смотрел на пустую тень.

— Я его отдал, — сказал Ярн. — Летом. За мель.

— Кому?

— Купцу.

— Какому купцу?

Ярн Брауль посмотрел на Ольгерна и промолчал.

Ольгерн медленно положил клык на бочку.

— Значит, клеймо продали, — сказал он.

— Я не знаю, что продали, — сказал Ярн. — Я ковы покупал.

— А мельнику ты клеймо продал?

— Мельнику.

— Мельник мёртв с первого года.

Ярн стоял и не отвечал.

Альда смотрела на клык и на оттиск, и она не понимала ничего, и это её раздражало.

— Что вы тут, — сказала она. — Что такое клык?

Ольгерн Торн взял клык и положил на лист, рядом с оттиском.

— Смотри, — сказал он.

Он накрыл лист обрывком холста, прижал, покатав кулаком и поднял.

Холст лежал, и на холсте был оттиск.

— Зубы направо, — сказал Ольгерн. — Это клык, поставленный через холст. Кто ставит печать прямо на воск, оттиск идёт прямой, зубы налево. Кто ставит через бумагу — оттиск зеркальный, зубы направо.

Он положил настоящий клык на лист.

— А мой клык, — сказал он, — оттиск даёт прямой. Вот, смотри, сам положи.

Альда положила клык и прижала.

Зубы получились налево.

— Это один, — сказала она.

— Это один, — сказал Ольгерн. — Это значит: у отца Илия был клык, и он ставил печать прямо, и оттиск получался прямой. И тот оттиск на грамоте — зеркальный. Значит, он снят не с клыка. Значит, он снят со слепка.

— Со слепка?

— С воскового слепка, который снят с оттиска. Слепок оттиска, оттиск со слепка. Воск на воск. Три раза, — сказал Ольгерн. — Я такое видел два раза в жизни. Первый раз, когда мой брат, по глупости, снял слепок с оттиска, чтобы показать отцу, как печать работает. Второй раз — вот сейчас.

Ярн Брауль стоял и смотрел на клеймо, проданное за мель.

— И что это значит? — спросил он.

— Это значит, что тот, кто отпечатал эту грамоту, не имел клыка, — сказал Ольгерн. — У него был кусок воска. И этот воск он снял с оттиска. А оттиск был на подлинной грамоте, в лавке, у нотариуса. Значит, подлинную грамоту видел тот, кто снимал воск.

— А кто это?

— Тот, у кого был подлинник, — сказал Ольгерн Торн. — И всё.

Он сел.

Он сел на наковальню и долго сидел.

— Ольгерн, — сказала Альда. — Это значит, что грамота поддельная?

Ольгерн посмотрел на неё.

— Это значит, что не та грамота, что на двери, — сказал он. — Я не знаю, какая подлинная. Я знаю, что та, что на двери, сделана через слепок. А через слепок делают, когда подлинника у тебя нет.

Он помолчал.

— И ещё, — сказал Ольгерн. — У подлинной грамоты печать Волчьей Горы стоит прямо. А у этой — зеркально. То есть подлинная грамота в лавке есть. Она у нотариуса. И она подтверждает долг.

Альда очень медленно опустилась на табурет.

— То есть, — сказала она, — я считала, что пятьсот — враньё. А это не враньё. Это всё ещё пятьсот?

— Нет, — сказал Ольгерн. — Не всё.

Он взял лист и перевернул его обратной стороной, где писац ничего не писал.

— Я, — сказал Ольгерн, — в этом не разбираюсь. Я клепаю цепи. Но ты, дева, считать умеешь, и ты считала у себя. Сколько отец брал?

— Шестьдесят.

— И сколько отдал?

— Двадцать два товаром. Осталось тридцать восемь.

— Тридцать восемь, — сказал Ольгерн. — Значит, тридцать восемь и пятьсот — это не одно и то же. Тридцать восемь — долг. Пятьсот — сколько они написали. Что между тридцатью восемью и пятьюстами — я не знаю. Это не моё. Но я скажу, дева: я клепаю заборы тридцать лет, и бывает, что хозяин говорит «забор стоит двести», а дерево стоит двадцать, и разницу он берёт себе, и это называется так же, как у вас, только тише.

В полдень пришли.

Их было четверо, и вёл их человек без плаща, в добротном суконном кафтане, и в руке у него был пергамент и медная печатка на палке.

— Сбор по недоимкам, — сказал он. — Соль-борг. За Шестера Косого, который должен лорду шесть флоринов шесть марок, а вина не отдал. Берём волу и двух овец с двора.

Староста Онуфрий Седой вышел.

— Долг Шестера — не наше дело.

— Наше, — сказал человек. — Долг Шестера, а двор отцовский. У вас в селе если кто умрёт бездетным, двор переходит к родне, а родне отвечает. Лорд так решил.

— Лорд так решил, когда Шестер был жив?

— Лорд решил, когда шестер умер, — сказал человек. — Он умер в лунный месяц Цветень. В документах написано: завещания не оставил. Значит, шесть флоринов шесть марок — на двор.

— Он задолжал вину, а не шесть флоринов, — сказал староста. — Шестер пить не пил.

— Шестер был должен Мейнхарду Целли три бочки, — сказал человек. — По записи. Три бочки — шесть флоринов шесть марок. Я не выдумываю.

Староста стоял и молчал.

— Вола у нас одна, — сказал он. — Вол у нас одна, и овец нет.

— Значит, вола.

— Вола кормит нас.

— Вола кормит вас до следующей ярмарки, — сказал человек. — А лорд кормит вас не до следующей ярмарки, а всегда. Я беру вола, и лорд берёт с меня шесть флоринов шесть марок, и вы говорите спасибо.

Он показал на ворота.

— Открывай.

Староста не двигался.

Человек в кафтане вынул из-за пояса нож — короткий, рыбацкий — и показал его. Именно показал.

— Мальчики, — сказал он. — Ворота.

Двое пошли к воротам.

И тут из-за кузни вышел Вальд Тарн.

Он был в бурой безрукавке, и в руке у него ничего не было, и он шёл медленно.

— Стоять, — сказал человек в кафтане.

Вальд остановился в трёх шагах.

— Вола и овцы, — сказал Вальд. — Сбор по недоимкам.

— Тебя я не спрашиваю.

— И я тебя не спрашиваю, — сказал Вальд. — Я говорю: вола одна, и её кормят дети. Ты её берёшь — дети голодают до ярмарки. Ты берёшь умирающих. Соль-борг так не берёт. Соль-борг берёт у тех, у кого двое.

Человек в кафтане посмотрел на него.

— Ты кто?

— Вальд Тарн. Рыцарь без земли и без службы.

— Ты, стало быть, рыцарь. Тогда скажи мне, рыцарь, откуда лорд берёт соляной сбор, если не с тех, у кого двое.

Вальд не ответил.

— Скажу, — сказал человек. — Лорд берёт соляной сбор с тех, у кого двое. С тех, у кого трое. С тех, у кого двое и боров. Он берёт сверху, а сверху есть всегда, потому что сверху — это тот, у кого нет борова. А боров нет у тех, у кого долг.

Он поднял нож.

— Ворота.

Мальчики пошли.

Вальд Тарн не двинулся с места.

Человек в кафтане сказал:

— Ступай, рыцарь.

И тогда из-за угла вышел Ольгерн Торн, и в руке у него был молот, и он держал его так, как держат молот, когда входят.

Он не сказал ни слова.

Он вошёл в ворота, потому что мальчики уже отворили их, прошёл внутрь и встал спиной к воротам.

Человек в кафтане посмотрел на него.

— Кузнец, — сказал он. — Молотом ты меня не пугаешь.

— Я не пугаю, — сказал Ольгерн. — Я стою.

— Стой, сколько хочешь.

Ольгерн стоял.

Прошло, может быть, двадцать ударов.

И тогда Вальд Тарн сделал шаг.

Он не поднял меча. У него не было меча: он отдал его Счётчику в Халене три года назад и так и не купил. Он сделал шаг и встал с Ольгерном рядом, и плечо к плечу, и это было всё.

Человек в кафтане посмотрел на них двоих.

— Двое, — сказал он. — Значит, можно.

Он ударил Ольгерна ножом в живот.

Удар пришёлся в подрукавник, потому что Ольгерн в последний момент поднял молот и прикрыл корпус, и нож скользнул по железу, и высек искру на всю длину, и звук был такой, как будто ударили в колокол.

И Вальд Тарн ударил.

Он ударил коленом, и коротко, и в живот, потому что в живот бьют, когда в живот бьют ножом, — и человек в кафтане сложился, и нож вылетел из руки и ушёл в грязь.

Потом поднялись двое мальчиков.

Потом Ольгерн, вставший на колено, ударил молотом по подкове, которую держал в левой руке, и подкова попала в голень, и человек упал на колено.

Потом из-за угла вышла Альда с вилами в руках, и она придержала одного мальчика, потому что вильями держат за ремень.

Потом прибежал Ярн Брауль с жердью, и Матрёна Ольга с чугунной сковородой, и дед Овдей, который не слышал ничего и шёл на шум, и взял первого, кто попался под руку, и это оказался мальчик.

Потом в поле лежали четверо, и у одного было сломано голено, и у другого забрано ножевое.

Староста Онуфрий Седой вышел на крыльцо.

— Вола цела? — спросил он.

— Цела, — сказал Ярн.

— Ну, слава богу, — сказал староста.

Ольгерн Торн сел на землю и держался за бок.

— Ничего, — сказал он. — Рукав.

— Кровь идёт, — сказала Матрёна.

— Не идёт, — сказал Ольгерн. — Рукав.

И тут прибежал Тимка.

Он бежал от виноградни, и он бежал так, что было видно, как он старается не упасть, и он упал, и встал, и прибежал.

— Ток, — сказал Тимка. — Ток горит.

Что было потом, Альда помнила не по порядку.

Она помнила, что Вальд Тарн бросил Ольгерна на земле и побежал, и что бежал он напрямик через огороды, мимо дороги, и сапогом сбил капустные грядки, и это она видела и потом никогда не могла забыть.

Она помнила, что в току лежал хлеб. Не зерно — хлеб, уже снятый, и сложенный в ряд, и рядом стояла Матрёнина Мироновна и её двое детей, которые смотрели, как дым идёт от соломы, а тушить нечем, потому что колодец далеко, и вода в бочке была вся.

Она помнила, что Вальд Тарн вошёл в ток и закрыл рот платком, не закричав: в дыму дышать нельзя, а крикнешь — выдохнешь всё и упадёшь.

Она помнила, что он стащил с боков четыре мешка и положил, и вышел, и стащил ещё четыре, и вышел, и Мироновна стояла и держала младшего, а старший, которому было четыре, стоял у дыма и не двигался.

Она помнила, как Вальд Тарн вошёл в дыму в третий раз и вышел с ребёнком.

Она помнила, как ток всё-таки сгорел. Не весь, но крыша сгорела, и часть хлеба, и те два мешка, которые лежали в углу, потому что четыре он вынес, а к пятому дым был такой, что не видно было пальцев.

Она помнила, что Ольгерн Торн дошёл, идя боком, и держал рукав, и посмотрел на ток, и сказал:

— Кто?

— Сенцовы, — сказал Тимка. — Двое. Кривой не приходил.

Ольгерн ничего не сказал.

Она помнила, что плакал Ярн Брауль, и плакал он, не закрывая лица, и стоял посреди площади, и все на него смотрели, и он не закрывал лица.

Она помнила, что Вальд Тарн сел на землю у погоста и не мог встать сразу, и встал потом, и держался за бок, где не было ранения.

Она помнила, что дед Овдей всё это время стоял на своей двери и говорил:

— Я не слышу, что вы говорите, но я вижу.

И помнила, что к вечеру пришли двое в серых плащах и записали в книге: «Хлеб сгорел. Потери считать в осень».

К вечеру в кузню принесли ящик.

Принёс его возчик из Сольвы, на муле, и ящик был чёрный, окованный по углам, и на крышке кто-то выжиг волчью голову с тремя зубами.

— Это Ольгерну, — сказал возчик. — Или тебе, если тебя нет.

— Я есть, — сказал Вальд.

Возчик поставил ящик и ушёл, не сказав ни слова.

Ольгерн Торн смотрел на ящик, и он не мог поднять руку, потому что одна была на боку.

Яри Брауль открыл ящик ногой.

Внутри лежал щит.

Дубовый, облицованный тонким бронзовым листом, и кромка — втрое толще, потому что кромку кладут на камень, а не на человека. Дуб потемнел от времени, бронза была свежей, жёлтой, с зелёными потёками по сгибам: её клали в ящик незадолго.

На листе, в центре, было выбито: кошель, завязанный узлом, а над ним — ладонь раскрытая, вниз ладонью.

Ольгерн Торн долго смотрел на это.

— Что это значит? — спросил Вальд.

— Это значит: возьми у меня деньги, и я с тобой рассчитаюсь, — сказал Ольгерн. — То же, что на пяти печатях короля. Ладонь вниз — это охрана. Кошель, а над ним рука, — это «под моей рукой». Не «что дашь», а «как распорядишься».

— Это подарок?

— Это вложение, — сказал Ольгерн. — Целли не дарит. Целли одалживает под ту же бумагу, что и виноградне, только бумагу пишет он сам. Через полгода он приедет и скажет: отдавай щит или отдавай шестьдесят.

Ольгерн посмотрел на Вальда.

— Ты не бросишь щит под нож, — сказал он. — Ты вчера ночью при мне считал чужой долг по чужому листу. Человек, который ночью считает чужой долг, не выбросит подарок.

— А если я его не приму?

— Тогда примешь в следующий раз, — сказал Ольгерн. — И получишь хуже.

— А если не в следующий?

Ольгерн Торн посмотрел на него долго.

— Тогда ты сделаешь то, что я просил тебя сделать три дня назад, — сказал он. — Назовёшь цену.

Вальд положил ладонь на бронзу.

— Я беру, — сказал он.

Ольгерн кивнул.

— Теперь назови цену.

Вальд молчал долго. Ольгерн не торопил: он у себя в кузне ко всему привык, к тому, что думают, подбрасывая металл в горн.

— Я не буду этим щитом прикрывать ложь, — сказал Вальд. — Ни свою, ни чужую. Если я встану и скажу в палате, что грамота ложная, — я скажу это и с этим щитом на руке. Если я приму от кого-нибудь деньги за то, о чём потом промолчу, — ты снимешь этот щит с меня сам.

— Могу, — сказал Ольгерн.

— И второе. Я не продам его и не заложу, и не отдам никому, кроме тебя или могилы.

— Годится, — сказал Ольгерн. — И теперь запомни, что ты это говорил в кузне, при свидетеле, который никому ничего не скажет, потому что некому. Это хуже, чем при свидетелях. Это хуже, чем без свидетелей. Так у нас, кузнецов: клятва в пустом городе держится дольше, потому что её нечем подтвердить и нечем отменить.

Он посмотрел на Вальда.

— И ещё, — сказал Ольгерн. — Ты вчера дал слово деве, а дева тебе сказала, что пойдёт в Вильну одна. И ты ей сказал про сваю с крюком. Она услышала?

— Услышала.

— И всё?

— Всё, — сказал Вальд.

— Тогда ты сделал дело, но не до конца, — сказал Ольгерн. — Ты сказал ей про сваю, а не сказал ей про рот. Рот на свае — это для тебя. Свая — для неё. Она пойдёт мимо сваи, если сваи нет, и это правильно. А рот тебе нужен, потому что ты теперь рыцарь, который дал слово, и лорд знает, что ты дал. И когда он пришлёт кого-нибудь с грамотой, ты должен будешь что-то ответить. И вот тогда ты выбираешь.

Ольгерн сел.

— Два ответа, — сказал он. — Первый: «я не знаю». Второй: «я знаю и не скажу». И оба — молчание. И молчание, за которое можно заплатить. Ты понимаешь, о чём я?

Вальд Тарн сидел и смотрел на щит с кошельком и ладонью.

— Понимаю, — сказал он.

— Тогда спи, — сказал Ольгерн. — Завтра я кую второй. Из обломка.

— Из какого обломка?

Ольгерн встал и подошёл к стене, где висели заготовки, и снял с крюка короткую стальную полосу с обухом.

— Из твоего меча, — сказал он. — Ты его три года назад положил в угол, потому что он сломался, и ты с тех пор не купил нового. Я его видел.

— Он сломался о дорожный камень, когда я отвёл клинок от собаки.

— Значит, он клинок, — сказал Ольгерн. — И из клинка будет щит. Это не длиннее. Это другое.

Он положил полосу на наковальню.

— Три дня, — сказал он. — Стучи, если что.

— Ольгерн.

— Что.

— Спасибо.

Ольгерн не ответил. Он поднял молот.

И потом, не поднимая головы, сказал:

— Слышишь?

Вальд повернул голову.

За окном кузни, далеко, за полем, на дороге в Вильну, стоял всадник в сером плаще.

Он стоял неподвижно и смотрел на огни деревни, и на огни было видно, что горит, и видно, что не догорает.

Он стоял и смотрел долго.

Потом он поехал прочь, и на дороге его было слышно, потому что он ехал шагом, а лошадь у него была тяжёлая.

Ольгерн Торн стоял у окна и слушал.

— Тот же? — спросил Вальд.

— Тот же, — сказал Ольгерн. — Я его видал третьего дня у пруда, когда ты говорил с рыбакой. Он стоял тогда там же и смотрел на кузню.

Ольгерн закрыл ставню.

— Ложись, — сказал он. — Ночью я кую, и ты не спишь. Я кую так, что слышно на дороге, — сказал Ольгерн Торн. — А кто-то едет по дороге и слушает. И пусть слушает.

Он разжёл горн в пятый раз за этот день.

ГЛАВА 3. ЛЕТОПИСЕЦ

Четвёртый день, как он шёл по тракту, Эйдан Молив понял, что его снимают.

Это было неприятно, но это было привычно, и потому не пугало. В том и преимущество писателя: он умеет быть написанным сам.

Он шёл вверх, в Серый Брод, с сумкой, в которой лежали два листка пера, чернильница, четверть хлеба и четыре медные монеты, и он шёл медленно, потому что медленно он мог идти четыре месяца, а быстро — месяц.

Он не умел ехать верхом. Он умел идти, и это было его ремесло, и ремесло это плохо заканчивалось.

Первый раз его сняли в Ланге, за то, что он записал не то, что было.

Второй раз — в Мальвине, за то, что он записал то, что было.

В обоих случаях он был прав, и в обоих случаях это ничего не меняло, потому что записи интересуют расход, а правота её не трогает. Записка стоит: поднять, переписать, хранить, и за это кто-то платит. Платит тот, кому выгодно, чтобы правда была на его стороне, и тот, кому выгодно, чтобы её не было вообще.

Поэтому Эйдан Молив, дойдя до вилки у Топи, сел на камень и записал первое, что пришло в голову.

«Четвёртый день. Иду к человеку, который, может быть, дал слово. Записал это и подумал, что если он его не дал, то я прошёл одиннадцать дней зря, а если дал, то он дал его не мне, и это тоже зря. И в обоих случаях я иду дальше, и это единственное, что я умею делать без бумаги.»

Он закрыл лист — и тут услышал.

Не шаги. Хуже.

У болота, где тропа была в два брэнда, слышно было, как кто-то дышит в ухо. Так дышит человек, который стоит неподвижно и долго, а потом дышит, потому что больше не может не дышать.

— Ты идёшь, — сказал Эйдан. — И стоишь с четверти часа. И дышишь в ухо. Ты молчишь, потому что думаешь, что если не заору, то меня не будет. А я тут.

Из леса не ответили.

— Я скажу, что я делаю, — сказал Эйдан, — потому что тебе будет интересно, даже если ты меня убьёшь. Меня зовут Эйдан Молив. Я летописец. То есть я был летописцем четырнадцать лет, а теперь я просто человек с пером. Перо хуже меча: им ничего не пробить, зато

можно оставить. Я иду в Серый Брод к рыцарю по фамилии Тарн. Я слышал, что он дал слово, и я иду посмотреть, как он его держит. Если не держит, я уеду. Я это умею. Я уезжал от таких одиннадцать раз.

Он замолчал и подождал.

— И ещё. Ты устала. Ты стоишь, потому что сесть нельзя: сядешь — ноги перестанут держать. Ты не спала двое суток. И ты держишь топор так, что держишь уже за обух, потому что пальцы отжались. И ты держишь обухом, потому что боишься, что возьмёшь за лезвие и рука сорвётся.

Лес выдохнул и перестал дышать.

Потом из леса вышла женщина.

Она была невысока, в чёрном плаще с капюшоном, из-под которого торчали волосы, остриженные коротко, по-мальчишески, до ушей. Топор она держала за обух, и Эйдан был прав.

— Ты чудной, — сказала она.

— Я знаю, — сказал Эйдан. — Поэтому мне и нельзя писать. Иди, если хочешь. Я не пойду за тобой.

Она не пошла.

— Ты сказал — слышал, что он дал слово, — сказала она. — Кто слышал?

— Я слышал. Я это записал, потому что записываю всё. Это дурная привычка.

— Это не дурная привычка. Это подлость.

— Почему?

— Потому что ты идёшь к нему, а у тебя нет рук, — сказала она. — У тебя есть перо. Ты пойдёшь, напишешь, уедешь. А он останется. Я видела, как вы это делаете.

Эйдан молчал.

— Ты кто? — спросил он.

— Аста.

— Аста что?

— Нойвен, — сказала она. — Приёмная дочь Нойвен. Моя мать в записи Нойвен, и я в записи Нойвен, и обе мы в записи никак. Я не помню своего имени. Я знаю, что мать звала меня Аста, и я знаю, что она была белой, и я белая. Мать сказала, что я врозь, и что меня

взяли в лесу у костра, где что-то горело, и что она меня не искала, а она сама пришла, — и значит, её прислали.

Эйдан Молив медленно сел на камень.

— Садись, — сказал он. — Я писатель, я много слышал, но этого не слышал.

— Не за что.

— За то, что я запишу, — сказал Эйдан. — И это единственное, что я умею предложить. Я не умею защитить, не умею убежать и не умею помолчать. Я умею записать, что с тобой было. И через двадцать лет кто-нибудь прочтёт, и будет знать, что с тобой было, и это будет правда, и она будет стоять в книге, и её нельзя вырвать, как вырывают листы, потому что лист вырывают, а то, что в книге, — нет.

Она стояла и смотрела на него.

— У меня нет доверия к книгам, — сказала она.

— У тебя нет доверия ко мне. Это разные вещи, и первое не приговор.

Она села в трёх шагах от него, на корточки. Это было положение человека, который может встать и уйти быстрее, чем встанет.

— Мать сожгли, — сказала Аста Нойвен. — Двадцать лет назад, на Мечёвой Горе. Мне было четыре. За то, что крала в лесу.

— Крала что?

— Мёд. Пчелиный, из леса. И орехи. И однажды курицу, у которой хозяин был беден, а курица не подохла.

— За мёд сожгли?

— Я видела за что, — сказала Аста. — Их было четверо, и один с гончими, и они гнали её тропой вверх, к костру на поляне. Костёр был разложен заранее, и на костре был трезг. И когда её привели, они её положили и не стали бить. Они её стали жечь. А сначала её держали.

Она остановилась.

— Я не знаю, сколько её держали, — сказала Аста. — Потому что я была в четырнадцати шагах, в дубу, и мать велела лезть и не выходить, и я не выходила, и смотрела через щель.

— И ты видела.

— Я видела руки, — сказала Аста. — Я видела, как их было трое. Я не видела лица, потому что лица я не ждала. Я ждала волка.

Эйдан перестал дышать.

— Волка?

— На груди, — сказала Аста. — На груди у того, кто держал. Волчья голова с тремя зубами. Я видела её за две недели до и не видела в ту ночь, но видела за две недели, на торгу у ворот, и запомнила, потому что она блестела. На торгу блестит золото, и всякий блестит. А волк блестит иной раз. Он тусклый, и один зуб загнут больше других, и от него пахнет маслом для кожи, потому что его каждый день чистят, и чистит не слуга, а сам хозяин, потому что слуга чистит плохо, и хозяин бьёт.

Она посмотрела на Эйдана.

— Ты записал, — сказала она.

— Я записал.

— Что ты записал?

— Всё, что ты сказала. Слово в слово.

— Зачем?

— Чтобы ты знала, где это лежит, — сказал Эйдан.

Он полез в сумку, достал лист, сложенный вчетверо, развернул и поднял так, чтобы ей было видно в свете фонаря.

— Прочти.

— Я неграмотная.

— Значит, слушай.

«летописец Эйдан Молив, заявил против воли. Йорик Молив, старший летописец северного отряда. За неправдивую запись. Вычеркнул и отнял брат Северин Морт, наместник.»

Он сложил лист.

— Мой отец ушёл из Ордена, а его вдове выдали половину пенсии, как за службу не выслуженную, а за службу, о которой написано ложно. Мать умерла через год. Мне было четыре, и я помню, что меня никто не учил писать, потому что учить было некому и незачем. В двенадцать лет я взял перо, потому что больше было нечего взять.

Он помолчал.

— Я говорю это не чтобы ты меня пожалела. Я говорю, чтобы ты знала, что я делаю. Я иду к рыцарю, который дал слово, потому что мне нужно, чтобы он дал его всерьёз и выполнил и не погиб. Тогда я напишу об этом книгу, и в книге будет имя моего отца, и имя вернётся.

— А если он не дал слово всерьёз?

— Тогда я уеду и напишу, что не дал. И имя не вернётся.

— Странно, — сказала Аста. — Твоё имя вычеркнули, а ты идёшь вытаскивать чужое.

— Не чужое, — сказал Эйдан. — Рыцарь Тарн дал слово. Слово — это его. Я не могу его вытащить. Я могу стоять рядом и смотреть, как он его держит.

Она молчала.

— Ты будешь стоять рядом, — сказала она. — И что?

— И записывать, — сказал Эйдан. — И это плохо, я знаю. Потому что когда я записал про вдову в Ланге, её сын пришёл через год и спросил, зачем я написал, что его мать оказалась в сомнительном положении. А она это сама говорила, и я записал точно. Я был точен. И сын всё равно пришёл.

Он замолчал.

— Я не могу писать так, чтобы было хорошо, — сказал Эйдан. — Я могу писать так, чтобы было верно. А верно и хорошо — разные вещи, и в Ланге я это понял дороже, чем тебе бы хотелось.

Аста Нойвен встала.

— Пойдём, — сказала она.

— Куда?

— К нему. Я пойду, если ты сделаешь две вещи.

— Слушаю.

— Первое: я иду рядом с тобой, а не с ним. Если он тебе верит, пусть верит и мне.

— Принято. Он тебе поверит, когда увидит, как ты молчишь.

Она посмотрела на него.

— Ты сказал «как я молчу». А я молчу не потому, что мне нечего сказать.

— Я сказал невежливо, — сказал Эйдан. — Я хотел сказать: когда ты молчишь, тебя нельзя перебить. Это редкость, и ею пользуются те, кому нечего терять.

— Второе, — сказала Аста. — Если я убью кого-нибудь, ты этого не вносишь в летопись.

— Почему?

— Потому что ты внесёшь правду. А после правды меня судят. И лорд скажет: «Сами видели». И всё.

— А если ты не убьёшь?

— Тогда вносишь. И ты напишешь, что Аста Нойвен восемь вечеров ходила на дыгу Сенцова и ни разу не выстрелила. И однажды этому поверят. И за этом поверят остальному.

Эйдан Молив долго сидел.

— Хорошо, — сказал он.

— Что «хорошо»?

— Хорошо, что ты просишь, — сказал Эйдан. — Просить неправду очень по-человечески, и я это сделал бы. Но ты просишь не того.

Он сложил лист.

— Я напишу правду. И напишу её так, чтобы её нельзя было вывернуть. Если убьёшь — напишу, что и за что. Если не убьёшь — напишу, что не убьёшь. А свидетель, который утаивает, хуже трупа, и ты это знаешь.

— Знаю, — сказала Аста. — И всё.

Они пошли по тракту.

На первой миле Аста шла на десяти шагах позади и не отставала ни на шаг, и Эйдан не мог её разговорить.

На второй миле он снял сапог, вытряхнул камешек, надел — и сказал:

— Ты считаешь выходы, когдаходишь. Я видел, как ты вошла в кузню: посмотрела наверх, потом назад, потом на пол возле двери. Это не привычка девушки. Это привычка человека, которого били в тёмном.

Аста не ответила.

— Я не спрашиваю, кто тебя бил, — сказал Эйдан. — Я спрашиваю, сколько раз тебя брали за волосы.

Она остановилась так, что он чуть не прошёл мимо.

— Один, — сказала она.

— Один, — повторил Эйдан.

— Один раз. Мне было четыре. Меня взяли с собой на суд, потому что меня судили за хлеб, и взяли за волосы, чтобы я стояла. Мать умерла. Меня взяла другая. Вторая взяла и умерла. Третья взяла, и это — мать. И мать меня за волосы не брала.

Она пошла дальше.

— Я больше не даю себя брать, — сказала она.

— Я знаю, — сказал Эйдан. — Это видно по тому, как ты стоишь. Ты стоишь так, что тебя нельзя дёрнуть за волосы и удержать, потому что ты низко и ты уже пошла. Это стоит силы: ты всё время устаёшь, и устаёшь ещё до полудня.

— Ты очень много говоришь, — сказала она.

— Я это знаю, — сказал Эйдан. — Это моя болезнь, как твои три шага.

На третьей миле они увидели дым.

Эйдан остановился.

Дым был не живой и не палевый. Он был белый и жирный, и поднимался из низины, где была старая дорога к Сенцову, и шёл с той стороны, откуда шли они.

— Сенцовы, — сказала Аста.

— Что они жгут?

— Не знаю. Дым не мой.

Она сошла с тракта и пошла вниз, быстро, и Эйдан побежал следом, и сумка с пером била его по бедру.

— Куда ты? — крикнул он.

— Не сюда!

В низине была роща, и в роще был костёр, и у костра стояли четверо, и пятый сидел на камне, и у сидящего было ружьё через плечо.

Это была дыга Сенцова, и Эйдан Молив понял это раньше, чем увидел, потому что дыга пахнет так, что ни с чем не спутать: горелая шерсть, кровь, и ещё что-то масляное, чем намазывают собак, чтобы не линяли.

— Тише, — сказала Аста. — Собаки.

И из-за дерева вышла собака.

Не охотничья. Дворовая, с обрывком цепи на шее, и она была белая, и злая, и пошла на Асту, потому что Аста вошла в её место.

Аста не двинулась.

Собака подошла к ней на два шага и остановилась.

Эйдан стоял за деревом и не дышал.

Аста медленно опустилась на корточки и протянула руку ладонью вниз.

Собака ткнулась в ладонь и заурчала.

— У вас тут собаки не на цепи, — сказала Аста.

— Оно чужое, — сказал Эйдан.

— Оно чужое и лежит на бреду, — сказала Аста. — И оно знает, что его не бьют. Собаку бьют за то, что она дикая. А эта сытая.

— Ты знаешь собак?

— Я знаю всех, кто бьёт слабых, — сказала Аста. — Они все ходят к Сенцову. И собаки их знают.

Они вышли к костру с другой стороны, и Эйдан увидел всё.

Двое держали собаку за ошейник — рыжую, с обрезанными ушами. Трое стояли у вешала, и на вешале висел мальчик.

Мальчику было лет тринадцать. Он висел за руки, руки связаны, лицо разбито, и он не кричал, и это было хуже крика.

Сидящий на камне поднялся.

Эйдан Молив перестал дышать.

Это был мальчик из Серого Брода. Тимка. Тот, что показывал обломок чурбака: «Он ей на левый глаз».

— Тимочка, — сказал Эйдан.

Мальчик поднял голову.

— Ой, — сказал он. — летописец.

Сидящий на камне обернулся.

— Чего?

— Ничего, — сказал Эйдан Молив. — Я смотрю.

Сидящий на камне был невысок, в соболиной шубе поверх кольчуги, с одним глазом, и глаз был правый, а левого не было, и левое ухо сорвано, и смотрел он так, как смотрят люди, которые никуда не торопятся, потому что их тут много.

— Ты, что ли, писать будешь? — сказал он.

— Буду, — сказал Эйдан Молив.

— Ну-ну, — сказал Кривой Сенцов. — Пиши.

Он подошёл, взял Эйдана за ворот, развернул к себе и посмотрел, как смотрят на лошадь.

— Светлый, — сказал Сенцов. — И с пером.

— Да.

— Пером ты, стало быть, можешь?

— Могу, — сказал Эйдан.

— Тогда пиши вот что. Ты пишешь, что видел рыжего пса, который на тебя бросился. Ты пишешь, что мальчика били. Ты пишешь, что я его повесил. И всё.

— И что дальше?

— А дальше ты идёшь к своему рыцарю, и рыцарь уезжает, и ты переписываешь, — сказал Сенцов. — Потому что рыцарей без земли много, и их всегда больше, чем рыцарей.

Он развернул Эйдана и толкнул в спину.

Аста Нойвен ударила Сенцова коленом в пах.

Это было быстро и нехотяще, и это сделал человек, который целился четыре года.

Сенцов сложился.

Аста ударила ещё раз, в челюсть, потому что первый удар был быстрый, а второй точный. Сенцов упал на колени, и кровь пошла из носа.

Двое у вешала бросили мальчика и побежали к Эйдану.

Эйдан не стал бежать.

Он снял сумку, поставил её на землю, вынул перо и сунул обратно.

И положил руку на бочонок с водой, стоявший у костра.

Он не был сильным человеком. Он был писателем, и писатели умеют одно: стоять на месте, когда надо бежать. Потому что бежать нельзя, если ты — то, что останется. Один человек может уйти. Двое, из которых один убежал, — это не свидетели. Это половина свидетелей.

Первый добежал до него и ударил в лицо.

Эйдан упал.

И тогда Аста Нойвен перешла через костёр.

Первого она ударила коленом в грудину, и он сел.

Второй ударил её. Он был крупнее, попал в левую скулу, Аста пошла вправо, и он ударил ещё, в ухо, и Аста упала.

Эйдан, лежа, видел это.

Он видел, как она упала, и как второй стоял над ней с ножом, и как нож пошёл вниз.

Он не мог пошевелиться. У него было лицо в крови, и он не мог пошевелиться, и он подумал: «Вот ради чего я сорок лет учился словам. Ради этого. Чтобы лежать и смотреть».

Аста Нойвен перехватила нож.

Она не отбила. Она взяла его за кисть обеими руками, повернула, и он воткнулся в землю рядом с её головой, в дёрн. Она оттолкнула его локоть, перевернулась, была сверху, и её колено было на его груди.

— Нет, — сказала она. — Нет. Я не буду этого.

И она закричала — так, что из-за вешала отозвалось эхо, и так, что собака на цепи зала-яла.

Она держала его за горло и не сжимала, и держала, и он смотрел на неё, и лицо у него было испуганное, и он был моложе, чем она.

— Лёша, — сказала Аста.

Она знала его имя.

Мальчик у вешала сказал:

— Он Лёша, его Дорка зовут, он в Дуде служил, а теперь при Сенцове.

— Знаю, — сказала Аста. — Лёша, я тебя отпущу. Встань и уйдёшь вон туда.

— Или что?

— Или я задушу, — сказала Аста. — Мне всё равно. Мне даже приятно. Но я даю тебе выбор, Лёша, а выбор — это то, чего у тебя не было ни разу.

Мальчик, который висел, сказал:

— Она его отпустит.

— Я его отпущу, — сказала Аста.

Она разжала руки.

Лёша встал и пошёл к Сенцову, который лежал на коленях, держался за лицо. Аста повернула его к себе.

— Иди к Сенцову, — сказала она. — И скажи ему: трое ваших лежат, и один ушёл, и ушёл потому, что ему дали выбор. И скажи, что я сделаю это ещё раз, и в следующий раз выбора не будет.

Лёша ушёл.

Эйдан Молив поднялся с земли и сел, и лицо у него было в крови, и сказал:

— Ты его отпустила.

— Да.

— Он вернётся.

— Вернётся, — сказала Аста. — Через месяц. И приведёт шестерых.

— Зачем?

— Чтобы я убила, — сказала Аста Нойвен. — Если я убью шестерых, я стану такая, за что меня вешают. А если не убью никого — я стану легендой. Легенд не вешают.

Эйдан смотрел на неё.

— Ты решила стать легендой вместо того, чтобы стать убийцей.

— Я решила, — сказала Аста. — И знаешь, что хуже всего? Хуже всего то, что я не знаю, зачем. То ли ради матери. То ли потому, что мне нравится, что я сильнее их. То ли потому, что я не умею иначе.

Она посмотрела на свои руки.

— Я считала, — сказала она. — Когда я держала его за горло, я считала. Я считала удары сердца. Я считала, сколько раз он вдохнул. И я знала, сколько раз он вдохнёт, прежде чем я сожму. Я знала, потому что считала это раньше. Я считала это в лесу, когда было темно, и меня было трое, а нас пятеро.

Эйдан Молив поднялся и подошёл к ней.

Он снял плащ и подал ей, потому что скула у неё потекла, а плащ был чистый, и это была единственная его вещь не для письма.

— На, — сказал он. — Прижми.

Она взяла плащ и не прижала.

— У тебя кровь на лице, — сказала она.

— У меня всегда кровь на лице, — сказал Эйдан. — Это не моя кровь, но она на моём лице. Прими ты.

Она прижала.

Они постояли.

Потом Эйдан записал это так:

«Аста Нойвен отпустила Лёшу Дорку, который был на волосок от смерти, и причину назвала: хочет стать легендой, а не убийцей. Я записал её слова. Я не записал того, что видел: она держала его девять ударов сердца и не сжимала, и считала, и на девятом отпустила, и девятый был тот, после которого он уже не мог подняться, но мог уйти. Она выбрала девятый. Это не выбор легенды. Это выбор человека, который умеет считать и умеет остановиться на нужном счёте.

Я это записал отдельно на полях, потому что в запись это не идёт. В запись идёт — отпустила. На полях идёт — девять.

Прочтено и подтверждено.

Мы пошли дальше.»

Они дошли до Серого Брода к ночи, и в деревне было тихо, и только у кузни горел свет, и кто-то стучал молотом, один на один, ровно и небыстро.

Аста Нойвен остановилась за двадцать шагов от кузни и не пошла дальше.

— Я не войду, — сказала она.

— Почему?

— Потому что не пойду к человеку, который меня не звал. И потому что хочу посмотреть на него сначала. С дерева.

— С дерева?

— С дерева видно всё, — сказала Аста. — И с дерева не видно тебя.

Она пошла в рощу за кузней, забралась на ольху и сидела там, и была видна только ногами.

Эйдан Молив подошёл к двери кузни и постучал.

Молот перестал.

— Открывай, — сказал голос.

— Это я, — сказал Эйдан. — Молив. Летописец без права службы.

Дверь открылась.

Ольгерн Торн стоял в чёрном от угля и в крови на боку, в рубашке с чужого плеча, и в руке у него был молот.

За ним стоял Вальд Тарн, в бурой безрукавке, и левая рука у него была на перевязи, и держал он её не потому, что рука сломана, а потому, что так было виднее.

— Ты, — сказал Ольгерн. — Четвёртый день идёшь?

— Четвёртый.

— А это кто? — Ольгерн кивнул на рощу.

— Не знаю, — сказал Эйдан.

— Не знает, — повторил Ольгерн. — Он привёл и не знает.

Эйдан посмотрел на ольху.

Потом посмотрел на Вальда Тарна.

— Он идёт с дерева, потому что не верит, что мы его ждём, — сказал Эйдан. — Это не недоверие. Это осторожность. Он идёт с дерева, потому что его один раз уже взяли за волосы, когда её мать стояла в суде, и с тех пор он входит в чужой дом только сверху и только если может уйти.

Вальд Тарн посмотрел на ольху и ничего не сказал.

Эйдан повернулся к нему.

— Сэр Вальд Тарн. Я пишу историю одного обетника, и я пришёл спросить, держите ли вы свой.

— А если не держу?

— Тогда я уеду и напишу, что не держу.

Вальд Тарн вошёл в кузню и сел на наковальню.

— Садись, — сказал он. — Стоя говорить — это способ не говорить. И слушай: ток сгорел вчера. Сенцовы. Четверо приходили, я отправил четверых. Один ходит с перебитой ногой, и он вернётся, и вернётся не один.

Ольгерн поставил перед Эйданом кружку.

— Из бочки, — сказал он. — Не из лавки.

— Спасибо, — сказал Эйдан. — Я писатель, я пью всё, что наливают, потому что это иногда единственное, за что соглашаются говорить.

Он сел.

И Эйдан Молив, который четырнадцать лет не писал под клятву, потому что не имел права, вынул перо, положил лист на колено и записал:

«Я пришёл в кузню Ольгерна Торна и увидел два щита. Один — бронзовый, с кошельком и ладонью вниз. Другой — чёрный, ещё не конченный, и на нём проступает клинок, входящий в чёрную волну, а над волной маленький квадрат, вырезанный в камне, и в квадрате ночной свет.

Я не знаю, кто дал первый. Я не знаю, из чего сделан второй.

Но я знаю, что первый стоит на стене, а второй лежит на наковальне. И я знаю, что наковальня тяжелее.

И я записал это, потому что больше всего на свете боюсь двух вещей: что люди, которые держат слово, однажды перестанут его держать, и что те, кто никогда не держал, напишут об этом книгу и будут правы.

А рыцарь Тарн не уехал.

Он сидит в кузне, у него левая рука на перевязи, и за стеной, на ольхе, сидит дева, которая считает выходы.

Прочтено. Подтверждено.»

Он прочитал вслух.

— Подтверждаю, — сказал Ольгерн Торн.

Эйдан повернулся к окну и поднял голос.

— Аста! — крикнул он. — Это глупо! С дерева не подтверждают!

На ольхе шевельнулись ноги.

— Я не с дерева, — сказала Аста Нойвен. — Я уже на земле.

Она стояла в дверях, плащ Эйдана был у неё на плечах, и в руке у неё был нож, и нож был чистый.

Она вошла, посмотрела на Вальда Тарна, увидела, что левая рука у него на перевязи, и сказала:

— Он меня не бил.

— Кто? — спросил Вальд.

— Сенцов, — сказала Аста. — Я ему колено в пах. Он не в силе. Но он человек.

Ольгерн Торн смотрел на неё.

— Иди сюда, — сказал он. — Покажи руку.

Она показала левую. Костяшки сбиты, два пальца не сгибаются.

Ольгерн взял руку, посмотрел и посмотрел Вальду.

— Перебинтовать надо, — сказал он. — И не ею. Пальцы не срослись.

— Я не буду, — сказала Аста.

— Будешь, — сказал Ольгерн. — Пальцы, если срослись криво, — это навсегда. Ты считаешь. Тебе пальцы нужны для счёта.

Она посмотрела на него.

Она стояла и смотрела на кузнеца, и Эйдан Молив видел, как она ищет в лице человека ложь, и как не находит.

— Ладно, — сказала Аста.

Ольгерн взял бинт, и пока он бинтовал, Аста Нойвен смотрела на щиты.

— Это твой? — спросила она у Вальда.

— Оба.

— Зачем два?

— Один мнётся, — сказал Вальд Тарн. — Другой трескается.

Она подошла ближе, посмотрела на чёрный щит и на тонкую светящуюся полосу и провела по ней пальцем — осторожно, потому что металл был горячий.

— А этот ещё не кончен.

— Третий день, — сказал Ольгерн.

Аста Нойвен отступила от щита и посмотрела на Вальда Тарна.

— Ты сказал при мне слово деве в корчме. И сказал ей про сваю с крюком. И сказал, что если она увидит кого-то — вернётся в Серый Брод и скажет кузнецу.

— Да.

— А сам ты поедешь в Вильну искать нотариуса, — сказала Аста. — И если с тобой что-то случится в дороге, то сваю увидит она одна, а прийти некому.

Вальд Тарн посмотрел на неё.

Он не ответил.

И это молчание было ответом, и Эйдан Молив записал его, потому что это было первое за долгое время молчание рыцаря, которое значило больше его слов.

Позже, ночью, когда Аста спала в подмётках, а Эйдан сидел у горна, к нему подошёл Ольгерн.

— Она считала выходы, — сказал Ольгерн. — Я видел.

— Видел.

— И она спросила про пальцы, — сказал Ольгерн. — Никто не спрашивает про пальцы. Про пальцы спрашивают, когда хотят, чтобы перевязали.

— А вы перевязали.

— Я перевязываю, — сказал Ольгерн. — Это дешевле, чем объяснять, что не перевязывал.

Эйдан кивнул.

Ольгерн постоял.

— летописец, — сказал он. — Ты сказал, что стоишь, чтобы рыцарь дал слово всерьёз.

— Да.

— А если он даст всерьёз и его убьют?

Эйдан Молив долго молчал.

— Тогда я напишу, как его убили, — сказал он. — И имя отца вернётся, потому что в записи будет написано, что рыцарь Тарн дал слово всерьёз и держал его до смерти. И это будет правда. И правда, которая стоит на могиле, весит больше, чем правда, которая стоит в протоколе.

Ольгерн хмыкнул.

— Это ты, стало быть, умеешь держать, — сказал он. — Слово.

ГЛАВА 4. СЧЁТЧИК

Сольва стояла на двух мысах, и между ними был залив, в котором стояли баркасы, и город был сбит из дерева плотно, как сундук, и оттого казался тесным даже издали.

Лавка Мейнхарда Целли стояла на первой улице от воды и была единственным домом, который не выглядел складом.

Дом был трёхэтажный, на каменном подвале, с белыми стенами и железными ставнями. На ставнях были выбиты буквы: «М. Целли. Расчёт, залог, поручительство, выкуп долга. Приём по гвоздю и по зарубке». На пороге стояла медная полка для сапог, а у полки стоял человек.

Он был невысок, сух, одет в чёрный суконный кафтан и в перчатки из замши, и руки у него были заняты: в правой он держал перо, в левой — очки из рога, которые он протирал, не глядя, потому что смотрел на вошедших.

— Седьмое окно, — сказал человек, не оборачиваясь. — Литописца — наверх. Девицу — тоже наверх. И рыцаря. И кузнеца. И того, кто в плаще.

Ольгерн Торн остановился.

— Я не в плаще.

— Ты в чужой шерстяной безрукавке, — сказал человек. — Это и есть плащ, когда на тебе нет своей одежды.

Ольгерн посмотрел на свою безрукавку и ничего не сказал и пошёл наверх.

Комната, в которой Целли принимал, была мала.

В ней не было ничего, кроме стола, двух стульев, шкафа и медной чернильницы. На стене висел портрет женщины в чёрном платье, нарисованный плохо, с неправдоподобно маленькими руками, и под портретом было написано: «Ульрика, моя жена, в год, когда ещё всё было впереди». На другой стене висела гравюра: устав палаты.

Мейнхард Целли был сух, волосы выбриты на макушке, на шее ничего, кроме воротника.

— Сэр Вальд Тарн, — сказал он, не вставая. — Полицейский лейтенант?

— Рыцарь без земли и без службы.

— Нет-нет, — сказал Целли. — Вы рыцарь без земли, это верно. Без службы — тоже верно, но это свойство, а не должность. Должность ваша, если придумать слово, — ходатай по чужим делам. Вы ходите и говорите людям, что у них есть долг, который можно не отдавать. Я одиннадцать лет занимаюсь обратной стороной этого промысла. Мне это приятно.

— Мне тоже, — сказал Вальд.

— Вот, — сказал Целли. — Это он. Я читал о вас четыре года назад, когда вы ударили человека на торгу, и думал: с этим человеком мне не придётся иметь дела. А потом вы прислали письмо.

Он показал на стол.

Письмо лежало на столе развёрнутое, и ответ лежал рядом, и оба были исписаны мелким ровным письмом без единого помаркивания.

— Я отвечал четыре раза, — сказал Целли. — Три раза вы не приходили. Это не грубость и не каприз. Это учёт. Человек, который пишет и не приходит, либо боится, либо торгуется издалека. Вы торговались, сэр Тарн. Я не обижаюсь на торг. Торг — это порядок.

Он посмотрел на Эйдана.

— А вы — летоописец, — сказал он. — Орденский? Позвольте, как ваша фамилия?

— Молив, — сказал Эйдан.

Целли не двинулся, но пальцы на перчатке остановились.

— Молив, — повторил он. — Йорик Молив?

— Его сын.

Целли кивнул и больше об этом не сказал.

Он снял очки, положил на стол, и без очков глаза у него оказались очень светлые и очень неподвижные.

— Сядьте, — сказал он. — Разговор будет длинный, а я старый человек, и мне надо видеть, что я говорю собеседнику, а не бумаге.

Они сели.

— Сначала счёт, — сказал Целли. — Обыкновенно. Вам пятьсот. У вас двадцать один. Разница четыреста семьдесят девять. Я разберу способы, и вы можете перебить в любом месте, но тогда вы не услышите, что я скажу после перебивания, а там самое интересное.

— Не перебиваю, — сказал Вальд.

— Первый. Работа, — сказал Целли. — У вас есть кузнец, который предлагал сто девяносто три флорина за зиму. Это не глупость, это единственное, что можно сделать, не рискуя. Вы отказались, потому что к осенней ярмарке вам нужно пятьсот, а не семьдесят три. Отказ ваш я понимаю. Он дорогой, но разумный.

Он посмотрел на Альду, которая сидела у стены и слушала с тех пор, как вошла.

— Замечу: сто девяносто три флорина к марту — это девица, у которой есть корова. Семьдесят три флорина не спасают Альду Тумен. Они спасают вас.

Вальд молчал.

— Второй. Продажа, — сказал Целли. — У вас три предмета, которые можно продать. Первый — бронзовый щит, который я прислал. Я выкупаю за четыре флорина. И это не торг, это моя цена, потому что я знаю, сколько стоит бронза и сколько стоит работа. Второй — ваш конь. У вас нет коня, простите, я ошибся. Третий — ваш меч.

Он посмотрел на Вальда прямо.

— Вы носите его на левом бедре, и он короткий, и вы носите его не для того, чтобы им бить, а для того, чтобы кто-то видел, что вы вооружены. Он стоит сорок марок. Я куплю его за сорок марок и сдам вам в залог за четыре марки.

Эйдан тихо сказал:

— Счётчик, вы сейчас торгуете его оружием, чтобы он дошёл до Вильны.

Целли не посмотрел на него.

— Это не жестокость, — сказал он. — Это забота. Я говорю вещи, которые следовало бы сказать, и говорю их, чтобы человек знал, где находится его нога. Нога у него на краю. Край я называю, чтобы он не упал по глупости.

— И третий способ, — сказал Вальд.

— А вот, — сказал Целли. — Вот он.

Он вынул из-под стола лист, положил и разгладил.

— Я даю вам в долг триста флоринов, — сказал он. — Под залог Слепой Лозы и под ваше имя, на год, под четыре марки с марки в месяц. Это не грабительство, вы можете посмотреть. Это четыре марки в месяц, то есть сорок восемь марок в год, то есть флорин и сорок восемь марок за год на триста. С обеих сторон нормально. Никто в Сольве не даст вам дешевле, потому что залог и так у меня.

— Что вы получаете, — спросил Эйдан, — если залог и так ваш?

— Я получаю, что залог перестаёт быть под вопросом, — сказал Целли. — Он был под вопросом с той ночи, как вы сожгли половину деревни. Я два года не знаю, что у меня. Двести флоринов — это бумага, а бумага не пахнет. Теперь я знаю, что у меня виноградня.

Он посмотрел на Альду.

— Я сейчас скажу цифры, — сказал он. — и вы их запомните, потому что потом их скажет вам кто-нибудь другие иначе.

Альда подняла голову.

— Лоза даёт в год валом три тысячи девятьсот двенадцать марок, — сказал Целли. — Это по моим записям, за четыре года, среднее. Из этого уходят: полома, гильзы, обручи, доля виноградаря, натурная доля лорду, соль, и то, что уходит на погоду. Остаётся двадцать шесть марок в год. Чистыми, в руки.

— Двадцать шесть марок, — повторила Альда.

— Двадцать шесть марок в год, — сказал Целли. — Долг тридцать восемь флоринов — это семьсот шестьдесят марок. Семьсот шестьдесят, делённые на двадцать шесть, — это двадцать девять лет. И никак меньше.

Он замолчал.

— Вот теперь счёт, — сказал он. — Триста флоринов — это шесть тысяч марок. Шесть тысяч марок — это двести тридцать лет ваших двадцати шести марок. Этот заём вы не отдадите никогда. Ни вы, ни ваши дети, ни ваши внуки. Он не документ, который можно со временем погасить, — это якорь. И якорь вы не поднимаете, вы стоите на месте.

Ольгерн Торн сказал:

— А что поднимать?

— Ничего, — сказал Целли. — Я и объясняю.

Альда встала.

Она встала, и Эйдан увидел, как у неё побелели костяшки пальцев, потому что она сжала их на фартуке.

— Значит, вы предлагаете мне триста флоринов, — сказала она, — чтобы я не могла их отдать.

— Я предлагаю вам триста флоринов, — сказал Целли, — чтобы вы взяли их и остались здесь, на этой земле, под моей рукой, и работали на лорда, пока лорд забирает натурную долю, а я беру остальное. И я предлагаю это вслух, при пяти свидетелях, и я предлагаю бесплатно, потому что мне это ничего не стоит и это мне выгодно.

— Вы предлагаете это бесплатно, — повторила Альда.

— И это, — сказал Целли, — самое честное, что я сказал за сегодня.

Он снял очки и протёр их.

— Теперь ваш ход, сэр Тарн. Я знаю, что вы хотите сказать «спасибо» и взять. И вот почему вы этого не скажете, и это моё дело — вам объяснить, чтобы вы не выглядели дураком.

Вальд не ответил.

— Вы не возьмёте, — сказал Целли. — Потому что если вы возьмёте триста, то через год у вас будет долг шестьсот сорок восемь, и залог ваш, и вы останетесь здесь. А к осени лорд заберёт виноградню по старой грамоте, потому что грамота на пятьсот не отменена никем. И вы останетесь с шестьюстами сорока восемью флоринами, без земли, без виноградни, без мастерской, и без права уйти, потому что вы подписали поручительство.

Он посмотрел на Ольгерна.

— Кузнец, — сказал он. — Скажите ему, что это так.

Ольгерн молчал.

— Кузнец, — повторил Целли. — Он идёт в Вильну за нотариусом, чтобы доказать, что грамота поддельна. Он докажет. И что дальше?

Ольгерн Торн посмотрел на Вальда.

— Вот что дальше, — сказал Ольгерн. — Он докажет, что подделка в четырёхстах шестидесяти двух флориновых. И тридцать восемь останутся. И тридцать восемь флоринов — это двадцать девять лет её жизни. А три года — это то, что у неё есть, пока она молодая. Она сейчас двадцать два. Через три года ей двадцать пять.

Ольгерн посмотрел на Целли.

— И вот ещё что, — сказал Ольгерн. — Вы сказали: двадцать девять лет её жизни. И это правда, долг её сожрёт. Но если она возьмёт триста — долг её сожрёт и молодость, а лозы у неё всё равно не будет. Значит, выбор не между «долг или не долг». Выбор между «тридцать лет без земли» и «три года без земли, но с лозой».

Целли смотрел на него.

— Кузнец, — сказал он. — Ты кузнец.

— Я кузнец, — сказал Ольгерн. — И я тридцать лет делаю так, чтобы кузнец не молчал.

Целли помолчал.

— Хорошо, — сказал он. — Ты прав. И я даю тебе то, за что меня называют Золотым Счётчиком: я называю вещи своими именами. Выбор между тридцатью годами без земли и тремя годами без земли. И второй выбор — выбрать три года и взять лозу обратно.

— Как? — спросил Вальд.

— Потому что тридцать восемь флоринов — это долг, а долг не надо отдавать весь, — сказал Целли. — Долг отдают частями, если заимодавец согласен. И заимодавец согласен, если залог чист. А залог чист, если виноградня стоит больше долга.

Он показал на бумагу.

— Лоза стоит двадцать шесть марок в год чистыми. Тридцать восемь флоринов — семьсот шестьдесят марок. Значит, лоза стоит двадцать девять долгов. Значит, долг не страшный. Он страшный, если нет земли. А земля есть, и если её не заберут, то долг отдаётся.

— Кто заберёт? — спросил Эйдан.

— Лорд, — сказал Целли. — Грамотой на пятьсот. Пока грамота стоит, он может забрать залог за долг, которого не существует.

— А пока докажем подделку?

— А пока докажете, — сказал Целли, — вы ничего не можете. Вот в этом весь разговор.

Он встал и вышел, и в дверях остановился.

— Счётчик, — сказал Эйдан. — Вы предлагаете триста флоринов и говорите, что бесплатно. Вы насчёт искренности не лжёте?

Целли обернулся.

— Нет, — сказал он. — В этом лавке не лгут, потому что в этом лавке считают. А лжец, который считает, — это не человек, это ошибка. Спросите меня о чём угодно.

Эйдан посмотрел на Вальда.

Вальд встал.

Он не сказал ни одного слова. Он снял с пояса кошель, высыпал двадцать один флорин на стол, разложил их в ряд и пересчитал.

— Пятнадцать, — сказал он. — Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один.

Он собрал обратно.

— Я не возьму, — сказал он.

Целли ждал продолжения.

Вальд не продолжил.

Он сел обратно.

Эйдан Молив смотрел на него и думал: вот теперь он либо держит слово всерьёз, либо он всю дорогу был красивым жестом.

А Целли сказал:

— Спасибо, что пересчитал вслух, — сказал он. — Я знал, что вы пересчитаете. И я знал, что вы скажете «не возьму». И я знаю, что вы не примете никакого объяснения, потому что объяснение надо принимать, а вы сегодня ни одного объяснения принять не готовы.

Он сел.

— Тогда я объясню не для вас, — сказал он. — Я объясню для себя и для записи.

Он положил руки на стол.

— Я дал вам триста и не получил. Это не жертва. Вот почему.

Он показал на шкаф.

— У меня в третьем шкафу лежат копии всех грамот, которые я составлял одиннадцать лет. Одна тысяча девятьсот с лишним. Я держу их не для дела, а для порядка. Порядок — это когда всё, что ты делал, ты помнишь.

Он помолчал.

— На шестьдесят третьем листе у меня записано шестьдесят. Потом двадцать два. Потом тридцать восемь. И на полях моя приписка: «заимодавшее, что взыскано в пятьсот, приписано по требованию лорда, а не по существу». Я это писал в тот же день, в лунный месяц Ольховник, одиннадцать лет назад.

Эйдан перестал дышать.

— У вас есть приписка, — сказал он.

— Есть, — сказал Целли. — И если лорд её увидит — а он её увидит, потому что я за этим и еду — то он поймёт одно: что цифры в грамоте написал я. А если он это поймёт, то он придёт ко мне не за долгом.

— А за чем?

— За мной, — сказал Целли. — Потому что если придёт за мной, то это не долг. Это человек.

Он снял очки.

— И вот тут, сэр Тарн, ваш обет становится мне невыгодным. Понимаете?

— Нет, — сказал Вальд.

— Я сейчас объясню, и вы уйдёте, и будете меня ненавидеть, — сказал Целли. — Но я это скажу, потому что не сказать хуже.

Он сложил руки.

— В панели обетов вы докажете, что грамота поддельна. Это ваш долг, вы его давали. И когда вы это докажете, палата спросит: откуда взялись двести сорок неустойки и сто шестьдесят тропы. Не от грамоты. От того, кто эти числа дал. И палата спросит, кто дал. И единственный, кого спросят, — это я.

Он кивнул на себя.

— Я. Мейнхард Целли. Я дал числа, и я записал приписку, и приписку я написал, потому что в ту ночь я был пьян и мне было страшно, что если я не запишу, что приписано по требованию, — завтра напишут, что по моему требованию. Это называется подстраховка. И это сработало на одиннадцать лет, и я привык.

Он посмотрел на Альду.

— И вот что я хочу, — сказал он. — Я хочу, чтобы в панели моё имя назвали первым. Не чтобы обвинить. Чтобы назвать. «Целли составил итог». Если имя названо — я кончу. Если имя не названо, а палата всё равно признает грамоту поддельной, — тогда придут ко мне через месяц, и придут не за долгом.

— А если я назову ваше имя, — сказал Вальд Тарн, — что тогда?

— Тогда вы меня видели, — сказал Целли. — И тогда в протоколе будет написано: Целли дал числа, Целли знал, Целли продал долг, зная, что виноградня стоит больше долга. Это правда. И я это не оспорю.

Он встал и подошёл к стене, где висел портрет.

— У меня есть дочь, — сказал он. — Двадцать девять. Она у меня четырнадцатый год. За четыре года не взяла из кассы ни марки. Она умеет считать лучше меня. И она сидит в этой лавке, и если я перестану быть Золотым Счётчиком, её возьмут в другую лавку. Не в мою.

Он повернулся.

— Я не прошу вас врать. Я прошу меня назвать. Но я не беру обещаний, сэр Тарн. Я беру подлинную копию показаний.

Он вынул из-под стола лист и положил перо рядом.

— Здесь написано: «Обязуюсь в том, что на Халенском суде обетов, в месяц Цветень, предъявлю показания по существу ложного взыскания, в том числе назову имя лица, составившего итог взыскания. Мейнхард Целли. Расписка прилагается в том, что триста флоринов получены под залог Слепой Лозы и под ваше имя, на год, под четыре марки с марки в месяц».

Он положил перо рядом с листом.

— Вот такая у меня бумага, — сказал он. — Идите и думайте. Думать надо долго. Если подписать и не сделать — хуже, чем не подписать.

Он вышел.

В комнате осталось пятеро.

Альда сидела и смотрела на стол.

— Он сказал «восемнадцать», — сказала она вдруг.

— Что?

— Он прошёлся со мной и сказал «восемнадцать». — Она подняла глаза. — Я езжу к нему четыре года, и он ни разу не спросил, как меня зовут. И он сказал «восемнадцать».

Эйдан посмотрел на неё.

— Это ошибка, — сказал он. — Он насчитал шаги и не снял шаги с языка.

— Это не ошибка, — сказала Альда. — Это оговорка.

Она встала.

— Я поеду в Вильну, — сказала она. — Завтра. Одна.

— Нет, — сказал Вальд.

— Я еду одна, — сказала Альда. — И вот почему. Если я поеду с тобой, то в нотариате скажут: вот дева, и вот рыцарь, и вот летописец, и кузнец, и они пришли от лорда. И всё, что я скажу, будет тем, что сказал рыцарь. А если я приду одна, то я просто дева, которая хочет узнать, кому должна. Это другое. Это хуже для меня и лучше для дела.

— Он поймёт, — сказал Эйдан. — Он нотариус, он считает.

— Пусть считает, — сказала Альда. — Он привык считать чужие долги.

Ольгерн Торн встал.

— Я поеду с ней, — сказал он.

— Нет, — сказала Альда. — Кузнец, ты не едешь дальше Серого Брода уже девять лет.

— Я ездил до Сольвы.

— Ты ездил за медом, — сказала Альда. — И ты вернулся.

Ольгерн стоял и не знал, что сказать.

— Значит, так, — сказала Альда. — Я еду одна. Он едет в Вильну за подлинником. Кузнец едет с ним, потому что без кузнеца в дороге не ездят, а с кузнецом в дороге ездят.

— Летописец, — сказала она. — Ты едешь со мной. Ты не нужен рыцарю, ты нужен мне, потому что ты читаешь. И ты читаешь вслух, и я слышу, как это звучит.

Эйдан посмотрел на Вальда.

Вальд Тарн не ответил.

Он смотрел на Альду, и он смотрел так, как, по словам Ольгерна, смотрят люди, когда понимают, что женщина сказала всё, что собиралась сказать, и ещё половину.

— С завтрашнего дня, — сказал Вальд. — Каждый день, пока ты в Вильне. Утром — у дверей. И если ты не вышла, то я жду до полудня, а после полудня я вхожу.

— А если я выйду?

— Тогда я не вхожу, — сказал Вальд. — Я иду в нотариат и стою в углу, и ты делаешь сама, и я молчу.

Альда посмотрела на него.

— Ты никогда в жизни не молчал в чужой комнате.

— В этой молчу, — сказал Вальд Тарн.

На рынке Эйдан Молив потерял сумку.

Это было сделано так чисто, что он сначала не понял. Он пересчитывал медные монеты на прилавке, и у него было четыре, и он положил три на прилавок, и в этот момент между ним и лавкой оказался мальчишка, серый, в грязной рубашке, с рукой, которая полезла ему за пояс.

— Нет, — сказал Эйдан.

Мальчишка побежал.

Эйдан бросился за ним, и на три шага его нога подвернулась, и он упал на колено на мостовой, и ладонь у него разбилась до крови.

Аста Нойвен была ближе.

Она стояла в трёх шагах и не двигалась до тех пор, пока Эйдан не упал. Потом она пошла — и пошла так, что за два шага сократила расстояние в десять раз, и мальчишка увидел её и развернулся, и побежал в узкий проход между двумя складами.

Она вошла в проход и вышла из него с мальчишкой за шиворот.

— Сумка, — сказала она.

Эйдан подошёл и увидел, что сумка у мальчишки в руке.

Он забрал её.

Внутри было всё на месте: два листка пера, чернильница, четверть хлеба, четыре монеты, и оттиск страницы летописи с вычеркнутым именем отца.

Эйдан Молив стоял посреди улицы Сольвы и смотрел на оттиск, и у него тряслись руки.

— Он знает, что у меня это, — сказал он.

— Он знает, что у тебя что-то есть, — сказала Аста. — Я не знаю, что. Но я знаю, что он полез именно за пояс, а не за пазуху. За поясом у меня нож. У тебя ножа нет. Значит, он знал, что ножа нет.

— Ты как узнала?

— Я стояла за его спиной, — сказала Аста. — С четвёртого часа.

Эйдан посмотрел на неё.

— Ты следила за мной четыре часа?

— Я следила за тобой с вилки, — сказала Аста. — Ты так разговаривал с Счётчиком, что я решила: если ты такой и с чужим, то ты такой и с бумагой.

— Спасибо, — сказал Эйдан.

— Не благодари, — сказала Аста. — Я не ради тебя. Я ради того, чтобы ты был, когда рыцарь вернётся. Ты ему нужен. Он тебе нужен. А я вам обоим нужна меньше.

Она повернулась и пошла по улице.

Эйдан Молив пошёл следом.

Мальчишку он отпустил. Он даже не спросил, кто его послал, потому что он знал, что скажет: «человек в сером плаще на белой двуколке у водопоя», и что двуколка эта, вероятно, всё ещё стоит у водопоя.

И она стояла.

Она стояла у самого края пристани, и на ней сидели двое, и у одного на груди была волчья голова с тремя зубами.

Вдоль улицы, от лавки Целли до пристани, ехал всадник.

Он ехал шагом, и он не торопился, и он смотрел на рынок, и на лавку, и на окна второго этажа, и кузнец Ольгерн Торн вышел на улицу и встал у своей стены, и стоял, и смотрел на всадника, и всадник посмотрел на кузнеца, и не отвёл глаз.

— Я его видел, — сказал Ольгерн Торн, когда Эйдан подошёл. — Он стоял у колодца в тот день, когда приехал писац.

— Он был в Сером Броде.

— Он был в Сером Броде в тот же день, что писац, — сказал Ольгерн. — И писац был в Сером Броде в тот же день, что лошадь на гребне. Это не совпадение. Это расписание. Его послали за писацем, а писац не ездит без охраны, и охрана — это он.

— Куда он поедет? — спросил Эйдан.

Ольгерн Торн посмотрел на всадника, который доехал до конца улицы и свернул.

— В Хален, — сказал Ольгерн. — Если он едет в Хален, то рыцарь едет в Хален.

— А если он не едет в Хален?

— Тогда он ехал посмотреть, — сказал Ольгерн. — Посмотреть, сколько вас, и где вы живёте, и куда смотрите. Теперь он знает.

Ольгерн вошёл в кузню.

Эйдан Молив стоял на улице.

Город был сделан из дерева, сбитого плотно, как складывают вещи в сундук, и оттого казался тесным даже издали. И в этом тесном городе человек в сером плаще только что проехал мимо четырёх тысяч жителей и никого не тронул, и уехал, и это было хуже, чем если бы он ударил кого-нибудь.

Потом из лавки вышел Целли.

Он был в своей шубе, и он шёл медленно, и он подошёл к Эйдану.

— Летописец, — сказал он. — Ты заметил, что меня никто не провожал?

— Заметил.

— Я одиннадцать лет живу в этом городе, — сказал Целли. — Я ни разу не выходил из лавки один. И сегодня вышел один. И ты понимаешь, что это значит.

— Что вы боитесь.

— Что я боюсь, — согласился Целли. — И вот что я тебе скажу, и ты это запишешь, потому что ты всё записываешь, и потому что это тебе пригодится больше, чем мне.

Он посмотрел вдоль улицы.

— Лорд узнает про обет сегодня к вечеру, — сказал он. — Не завтра. Сегодня. Потому что писац писал в Суде, а Суд — это три дороги, и на одной из этих дорог стоит человек в сером плаще.

Он помолчал.

— И вот что я хочу тебе сказать, летописец, и это самая дорогая вещь, которую я скажу за одиннадцать лет. Лорд знает про обет. И лорд знает, что у рыцаря нет подлинника. И лорд будет ждать, пока рыцарь приедет в Хален и встанет, и лорд будет молчать, и молчать выгодно. И рыцарь докажет ложность пятой сотни, и это будет правда, и это не будет стоить лорду ничего, потому что пятьсот не доказывает, что не было тридцати восьми.

Он повернулся к Эйдану.

— А тридцать восемь не доказывает ничего, — сказал Целли. — Тридцать восемь — это долг. Долг не отменяется. Долг гасится. И гасить его будут двадцать девять лет, и всё это время рядом с ней будет стоять лорд, у которого ничего нет, кроме виноградни, за которую он заплатил тридцать восемь.

Он помолчал.

— И вот что я тебе скажу последнее, — сказал Целли. — Я двенадцать лет не видел Одрика Гордельфа. Последний раз я видел его, когда он брал у меня долг за тридцать восемь, и у него в руке была расписка, и больше ничего. И я тогда подумал: странно. Купить тридцать восемь, имея шестьдесят на руках. И он дал сорок. Он дал сорок за тридцать восемь.

Он посмотрел на свои перчатки.

— Я тогда решил, что он ошибся, — сказал Целли. — Потом решил, что он пьян. Потом — что торгуется, чтобы сбить. И я продал.

Он стянул перчатку и посмотрел на голую руку, на которой не было ничего, кроме вен.

— А потом он взыскал пятьсот, — сказал он. — И вот тут я понял, что ошибся не он. Я ошибался одиннадцать лет.

Он натянул перчатку обратно.

— Иди к рыцарю, — сказал Целли. — И скажи ему вот что, и передай слово в слово. Скажи: я дал триста, и я не взял их, и подписки не взял, и бумагу свою я ему оставил на столе, и он её не взял. И пусть он знает, что я это сделал не из чести. Я это сделал, потому что через год он понадобится мне живым. И ещё одно передай.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.